

ФИЛИПП РЕЗНИКОВ



ПАСХА 1917

РАССКАЗЫ

Христос воскрес, вчерашний царь!

Марина Цветаева. 2 апреля
1917 года, первый день Пасхи

В последний день своей земной жизни Волков вспоминал Пасху 1917 года. Он лежал на сырой от пота кушетке в съёмной белградской квартире, кишевшей клопами, в полузабытьи, снедаемый чахоткой. Двадцать лет тому назад болезнь эта свела в могилу Чехова, его любимого писателя, и теперь память об этом облегчала страдания сорокасемилетнего полковника.

При нём находилась жена, маленькая сухая женщина, состарившаяся прежде положенного, с седыми волосами и помутневшими светло-серыми глазами, глядевшими на умирающего мужа отрешенно, почти безразлично. Любовь к нему всё ещё теплилась в её душе, но перенесённые страдания, во многих из которых она винила, наверное, и его, собственная боль, не дававшая ей покоя последние месяцы, сделали её равнодушной к его состоянию. Она понимала, что осталось ему недолго, про себя проклинала его болезнь и вместе с тем печалилась о себе самой, не зная точно, сколько месяцев, а может, недель отведено ей. Несмотря на всё это, она не отходила от мужа, вечно готовая откликнуться на любую просьбу, с какой бы он к ней ни обратился.

В последние сутки, когда он, поборов бредовые сны и видения, приподнимался на локте и говорил ей, что ничего из отведённого Господом ему не осталось, она успокоительно тихим, но уверенным голосом отвечала:

РЕЗНИКОВ Филипп Александрович родился в 1981 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар прозы С. Н. Есина). В настоящее время работает в Московском театре под руководством Олега Табакова начальником редакционно-издательского отдела. Печатается впервые.

— Ну, что же ты, Петруша, совсем загрустил? Ты глянь только, какое солнце на улице! Вот видел бы ты его, и страдал бы куда меньше.

Она переводила взгляд в окно, за которым было серо и моросил зимний дождь, и Волков смотрел туда же и пытался улыбнуться, чтобы показать ей, что он ещё понимает то, о чём она говорит, и ценит то, как она это говорит.

Вскоре он снова без сил падал на подушку, погружаясь в очередные болезненные видения, конца и края которым не было. Жена его отлучалась ненадолго на кухню, где наспех заваривала себе горький, невозможный, как вся её жизнь в последние годы, чай, выпивала его без удовольствия, но замечала про себя, что чаепитие состоялось, и возвращалась к постели Петра Осиповича, лежащего ничком, тихого, словно он уже перестал дышать. Она клала руку ему на спину и этой самой рукою слушала, бьётся ли внутри его исхудавшего тела сердце, теплится ли в нём ещё хоть маленький огонёк жизни. И когда ей удавалось различить слабое биение сердца, она успокаивалась, поднимала с пола старый журнал и принималась читать статьи, читанные уже не раз. Сидя на стуле и почти не вникая в написанное, она прислушивалась к собственной боли и, невзирая на неё, пыталась набраться сил.

* * *

В ночь на Страстную пятницу в дверь избы, в которой разместился командир полка Волков, громко постучали. Возможно, чуткий сон полковника оборвался с первым же ударом — точно он сказать не мог. На печи завозилась хозяйка, в углу вздохнул Кухарчик, молодой поляк, второй год состоявший при Волкове денщиком.

Полковник сел на койке, поёжился от холода и закрыл лицо ладонями. Ему ничего не хотелось: ни вставать, ни открывать дверь, ни тем более говорить с кем бы то ни было. Телефонная связь со штабом прервалась два дня тому назад, и теперь он решил, что это приехали непременно оттуда с каким-либо поручением или даже приказом. Ничего знать об этом полковнику не хотелось.

В дверь постучали ещё раз — настойчивее, сильнее, вероятно прикладом винтовки.

До Волкова донеслись голоса. Голоса, как минимум, нескольких человек. Кто-то тяжело кашлял, кто-то рассмеялся. Видимо, к полковнику среди ночи явилась весёлая компания солдат, явно желавших от него чего-то важного и срочного.

— Кухарчик, — позвал он денщика, — спишь, что ли?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — отозвался поляк.

— Ну, ты уж... — Волков на мгновение задумался. — Брось это, про благородие... Не понимают они этого.

Волков с печалью поглядел на хозяйку, уже соскочившую с печи и разжегшую лампу. На её не старом ещё лице виднелись морщинки: на лбу и возле уголков глаз. Она ходила вдовою третий год: муж её погиб под Танненбергом в конце августа четырнадцатого года.

— Слушаюсь, господин полковник, — ответил Кухарчик так, как теперь было принято, но по голосу было слышно, что он этим недоволен.

— Пойти, что ли, открыть им? — безразлично спросил Волков то ли у хозяйки, то ли у денщика.

Он посмотрел на иконы в красном углу.

— До чего же холодно у тебя в избе, — всё тем же бесцветным голосом сказал он хозяйке, натягивая поношенные, измазанные тёмной глиной сапоги.

— Сами же велели дрова беречь! — ответила женщина виновато.

— Да знаю, знаю...

Он приблизился к двери в тот самый момент, когда в неё постучали в очередной раз.

— Открывайте, ну же! — послышалось со двора.

Волков узнал голос. Он принадлежал старшему унтер-офицеру Федулову, высокому красивому парню, кажется, из Малоаярославца. Федулов был

неплохим человеком, но скверным солдатом: ему совсем не хотелось воевать. Конечно, воевать вообще мало кому хотелось, но большинство помалкивало, а Федулов молчать не мог, а потому вечно вокруг него всё бурлило, как-то даже по-революционному — смущал он своими разговорами о бессмысленности войны других солдат. Они слушали его жадно и жарко поддерживали, негласно избрав своим лидером, невзирая на старших офицеров. Сначала одна рота, а затем и весь волковский полк (от него после недавних боев осталось менее двух третей людского состава, а на пополнение вряд ли стоило рассчитывать) начали проявлять признаки разложения, усугубившегося ещё больше после того, как в Петрограде Керенский издал свой приказ номер один, цитировать который солдаты не уставали изо дня в день. Слова того приказа были наизусть известны и Волкову. И известны, и ненавистны одновременно.

Волков понимал одно: полк воевать не хотел. Возможно, воевать не хотела вся дивизия, весь корпус, целая армия. Люди не желали гибнуть просто так, без идеи. Без царя. Даже когда был царь, они не хотели гибнуть за него. Не все, конечно, но некоторые. Сейчас же и вовсе, казалось, не за кого погибать; даже слово “отечество” не вдохновляло солдат. Они устали, они хотели домой к своим семьям, они хотели мира. Волков мог это понять, но не мог этого допустить, потому что перед ним были немцы, а позади — то самое Отечество, которое следовало защищать ради самих себя, ради своих близких, ради будущего. Именно это Волков пытался донести до полка, но полк лишь свистел, иногда смеялся, а порою молчал. Волков мрачнел с каждым днём, как мрачнеет с каждым днём осеннее небо.

Он отпер дверь и распахнул её наружу, чуть не зашибив кого-то из стоявших на пороге. Тут же из темноты в свет шагнул Федулов, бывший чуть ли не на голову выше командира полка. Широко улыбаясь и поправляя соломенного цвета волосы, он бодро отрапортовал:

— Доброй ночи, господин полковник! Мы к вам с делегацией.

Волков недобро ухмыльнулся: он не любил слова “делегация” и “депутаты”, они вызывали у него изжогу. Порой ему казалось, что эти слова звучат чаще остальных.

Ему захотелось съязвить в ответ, но он вовремя вспомнил одного капитана, который не так давно огрызнулся и при солдатах назвал совет рабочих и солдатских депутатов советом собачьих и рачьих депутатов. Это стоило капитану жизни: кто-то из солдат продырявил его штыком и торжествующе заключил, что время офицеров теперь прошло и им теперь без комитетов не то что командовать не полагается, но и иметь собственное суждение.

— Вам, господин полковник, текущее положение дел смешно, как я вижу, — не переставая улыбаться, заметил Федулов, — но вы осторожней со словами, а не то речуться, что... — Он обернулся к своим товарищам. — Иными словами, вы должны понимать.

Волков не ответил. Федулов же торопился продолжать и пристально смотрел полковнику в глаза, но ничего не разглядел в них, кроме равнодушия и какого-то неясного упрека.

— Так вот... — произнёс Федулов, понижая голос.

— Говорите скорей. Избу застудите.

— Мы пришли к вам с требованием и желаем, чтобы оно было беспрекословно удовлетворено, — важно проговорил глава делегации.

Десяток пар внимательных глаз уставился на полковника. Он видел только тех солдат, на кого падал свет лампы, которую продолжала держать хозяйка, ставшая по правую руку от него, но он знал, что там, в темноте двора, есть ещё люди. Он слышал, как переминаются на сырой земле их ноги в скрипучих сапогах.

— Федулов, не томите, — сказал Волков.

Он понимал, отчего медлит унтер-офицер, почему так внимательно смотрит в глаза: тот надеялся обнаружить в командире страх; он сладострастно упивался мгновением, ощущением своей силы, важности и, вероятно, правоты. Всё это Волков видел в глазах Федулова, а тот ничего не мог прочитать по глазам и лицу полковника, знавшего, что, стоит ему проявить хоть в чём-то слабость, как этот солдатский рой сожрёт его, не оставив костей.

Офицер в армии стал никем (ему даже нельзя было получить оружие без разрешения комитета) — тем, кого безнаказанно можно было унижить, растоптать, убить, зная, что комитет избранных депутатов отыщет оправдание для такого убийства. С таким положением дел приходилось мириться, несмотря на то, что в груди Волкова клокотало море несогласия, разочарования, негодования от сложившегося порядка.

— Мы требуем, господин полковник, — заговорил, наконец, Федулов, не думая стирать со своих губ некрасивую ухмылку, — чтобы вы устроили нам разговенье.

— Именно что требуем! — раздался чей-то голос из темноты, а за ним ещё один, подтвердивший сказанное Федуловым.

— Вы, господин Волков, должно быть, знаете, что в обычае русского народа справлять Пасху, вспоминая тернистый путь Христа, его мучения и казнь через распятие. — Федулов говорил словно с издёвкой, с нескрываемым сарказмом, чтобы разозлить, вывести из себя полковника, но тот и бровью не повёл и слушал речь унтер-офицера бесстрастно. — И вспоминая о печальной участи Господа нашего Иисуса Христа, а через то об его Светлом Воскресении, мы хотим разговения в положенный день.

— Излагайте просьбу конкретнее, без иезуитства, сквозящего в ваших словах, — оборвал его Волков и следующие несколько слов произнес так отчётливо, чтобы их услышал каждый из собравшихся перед избой. — Чего именно вы хотите?

— Мы хотим, чтобы даны нам были куличи и яйца.

Полковник усмехнулся и поглядел на Кухарчика, застывшего за его спиной. Тот растерянно пожал плечами.

— То, чего вы требуете, вряд ли исполнимо в настоящих условиях. Вы должны это прекрасно понимать, как человек, который был избран... Как у вас это зовётся? В комитет. В депутатский. — Волков говорил медленно, словно взвешивая каждое слово, но вместе с тем пренебрежительно. Ему даже нравилось, как от подобных слов солдаты, стоящие перед ним, меняются в лицах и явно обдумывают, какой дать ответ. Конечно, полковник рисковал, говоря так, но риск не был ему страшен. — В полку нет ни муки, ни яиц, ни сахара. Иными словами, полк настолько нищ, что странно, как мы вообще находим, чем себя накормить. Кругом, извольте видеть, Полесье, земля, изнурённая четырьмя годами войны, земля, на которой ничего не осталось. Она никого не кормит, она только принимает в себя всё новых мертвецов и, может статься, однажды примет нас с вами.

— Тут вы ошибаетесь, — бросил Федулов нервно, — вы, может, и ляжете в эту землю, а я буду жить, невзирая ни на какие сложности, уж будьте спокойны.

— Мне импонирует ваш оптимизм, — ответил Волков, — но о том, лежать вам в полесской земле или не лежать, ведаёт лишь Тот, Кто в этот самый день принял смерть на кресте за нас с вами — за двух людей, в ночи решающих, как им справить Его Воскресение, невзирая ни на какие сложности, как вы выразились. Я очень рекомендую лично вам, Федулов, и вашим товарищам, разбудившим меня среди ночи, всерьёз задуматься о том, что ваша просьба, какой бы благородной она ни была, не может быть удовлетворена. Идёт война, и, стало быть, Пасху нам следует отметить по-военному, в аскетичной обстановке, уподобляясь в скромности своей самому Иисусу. В конце концов, Пасха — это не кулич, который вы хотите съесть, а музыка в сердце, обливаемом кровью и тоскующем по Христу. Ясно ли я выражаюсь?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — неожиданно выпалил Кухарчик, на которого слова полковника произвели, видимо, серьёзное впечатление.

Никто больше не спешил ему ответить. Он чувствовал, что солдаты ошарашены и пока что обдумывают сказанное, но непременно выскажутся, и ответ их, вероятно, будет направлен на то, чтобы его, Волкова, устроить. Так оно и произошло.

— Знаете что, полковник, — без всякого уважения, даже предписанного треклятым приказом Керенского, обратился к нему солдат Михайлов,

сорокалетний мужик, вдовец, пьяница и дебошир, потерявший половину зубов в пьяных драках с другими солдатами, — говорить вы мастак, а на деле чудака, если не выразиться иначе. Не видите, поди, какая мы есть серьёзная сила и что шутки с нами плохи?

— Я всё вижу, — спокойно отвечал полковник, — но если вы намерены взять меня приступом, пригрозив чем угодно, то имейте в виду, что я та самая крепость, что приступом не взять. Я не из пугливых, и кое-кто из вас об этом знает наверняка, потому что кое с кем из вас мы вместе ходили в атаку. Или кто-то имеет противоположное суждение?

Солдаты стали перешёптываться. Волкову было настолько безразлично, о чем они сейчас говорят, что он даже не пытался прислушаться. Слово снова взял Федулов.

— Раз вы так храбры, извольте найти смелость изыскать любым путём то, о чём мы просим. В противном случае, — здесь старший унтер-офицер повысил голос, — мы примем меры и будем вынуждены спросить с вас за это со всей строгостью.

— Позвольте узнать, какой будет формулировка моей провинности?

Солдаты вновь зашумели, но Федулов молчал, давно уже зная, в чём желает обвинить командира.

— Мы постановим, что ваша заботливость о нас и наших нуждах недостаточна, и приговорим вас к расстрелу.

Холодок пробежал по спине Волкова, но не от страха, а от ощущения вопиющей несправедливости, от осознания бесконечной нелепости случившегося. Следовало держать себя в руках, он прекрасно понимал это, но всё его существо бунтовало против происходящего, и ему хотелось закричать, ответить зарвавшемуся Федулову так строго, как полагается в подобной ситуации любому здравомыслящему офицеру. Он внутренне даже был готов к тому, что его уничтожат прямо сейчас, на пороге избы, хозяйка которой всё ещё стояла рядом, но уже закрыла глаза и, казалось, молилась про себя. Кухарчик зачем-то похлопывал себя по ляжкам — какая-то мысль бередила его, но было похоже, что он не может на ней сосредоточиться.

— Воля ваша, — ответил Волков после некоторой паузы, — вы можете меня расстрелять, но, ей-богу, это будет самый глупый поступок в вашей жизни.

Эти слова не понравились Федулову; он заиграл желваками, словно готовясь плюнуть командиру в лицо, но вместо этого хрипло прошипел:

— Не только вас, полковник, но и всех ротных.

— Яйца и кулички к разговению. Это всё, чего мы требуем, — послышался голос из темноты. — Не очень многого просим, господин полковник. Мы тоже люди, у нас тоже Пасха.

* * *

— Кухарчик, прикажите ротным прибыть ко мне срочно.

Это были первые слова Волкова с того момента, как солдаты разошлись.

— Слушаюсь! — бодро ответил Кухарчик и, накидывая шинель на плечи, поспешил из избы. Ему предстояло объехать несколько домов в двух деревнях, в этой и соседней.

Полковник не был испуган. Собственная жизнь в эти минуты представлялась ему чем-то внезапно обесценившимся, чем-то, что уже не имеет ни малейшего значения. Волков строго спрашивал себя, что же тогда имеет значение в нынешней обстановке, и приходил к выводу, что самым главным является спасение жизни тех, на чью жизнь солдаты задумали покушаться. Не боясь за себя, он боялся за жизнь своих офицеров — шестерых людей, которые ему доверяют и которые в него верят. Подвести их было нельзя. Но как не подвести, рассуждал он далее, если просьбу солдат исполнить невозможно. Обращаться в штаб дивизии, корпуса он считал бесполезным: а что они там, наверху, поделают, если здесь комитет, в руках которого ныне вся власть, что-то взял да постановил? Кто знает, какие комитеты собраны

в дивизии и в целом по армии, какие дела проворачивают они. Всё это было Волкову неизвестно. Следовало, таким образом, отправиться на поиски муки и яиц, имея, однако, в виду, что ни того, ни другого сыскать не удастся. Выходит, он собирался дать подчинённым приказ, который те не исполнят. Это злило полковника. Не лучше ли сразу отправиться в ближайший овражек и там принять смерть после унижений и осмеяния со стороны солдат?

Когда ротные прибыли — все шестеро, — Волков поднялся им навстречу, каждому крепко пожал руку, и недоумение появилось на лицах этих людей, большей частью ещё не проснувшихся, небритых, продрогших. Сейчас их лица показались полковнику такими родными, что он, будь он чуточку сентиментальнее, наверняка расчувствовался бы и обратился к ним эмоционально, не скрывая волнения. Но он не мог позволить себе подобную слабость.

— Я приказал вас разбудить, имея в виду выполнение одной крайне важной задачи. Она потребует от вас старания.

Он решил не сообщать, что не верит в успех предприятия. Он говорил так, словно был убеждён в том, что задача легко решается. Ротные слушали его внимательно и пока ещё не понимали, к чему он ведёт. Кухарчик ни словом не обмолвился, для чего их разбудили в четыре часа утра и требуют к началству.

— Около трёх часов тому назад, — продолжил Волков, — ко мне явились солдаты, называя свою толпу депутацией. Это их право называть себя как угодно, спорить я не стану. Депутация напомнила мне, что через два дня они собираются праздновать Пасху, а потому, следуя установленным обычаям, хотят разговеться куличами и яйцами.

Ротные по-прежнему хранили молчание, глядя на полковника, такого же внешне спокойного, как они сами.

— Наша задача, господа, удовлетворить их требование во что бы то ни стало.

— Но что мы можем? — не выдержал капитан Могилевский.

— Очень многое, а именно: отправиться по ближайшим деревням.

— И начать отнимать то, что у крестьян припасено на чёрный день?

— Чёрные дни давно наступили, — мрачно проговорил штабс-капитан Вересков, закуривая.

— Отнимать нельзя, — ответил Волков. — Нужно... Просить. — Он не поверил собственной интонации.

— У них всё равно ничего нет, — сказал Вересков, открывая дверь избу и выпуская наружу табачный дым.

— Как бы то ни было, господа, — подвёл итог Волков, — задача перед вами поставлена, прошу выполнять.

— Ваше высокоблагородие, — обратился к нему штабс-капитан Мазуров, — правильно ли я понимаю, что вы пошли на поводу у требований солдатни, которая, вы уж простите меня за дерзость, с каждым днём делается всё наглее и наглее?

Полковник чувствовал, к чему клонит ротный, и ему не нравилось, до чего может довести подобный разговор. Его следовало пресечь, но нужных слов Волков не находил.

— Так что же? — настаивал Мазуров. — Мы пытаемся спасти свои шкуры?

— Буду с вами предельно откровенен, — под испытывающими взглядами своих офицеров Волков, наконец, решился заговорить, — дела наши плохи. Если мы не обеспечим солдат желаемым, нас расстреляют.

Теперь словно раздался неожиданный выстрел — все оторопели и глядели на полковника непонимающе.

— Вы говорите об этом так спокойно, словно мысль об этом вас не пугает, — заметил Могилевский.

— Вы совершенно правы, мысль о возможной скорой смерти меня не тревожит. Не должна тревожить она и вас. Вероятно, мы погибнем и погибнем притом не героями. Иного выхода нет. Или, быть может, вы предложите бежать? — Волков усмехнулся собственному предположению, но не увидел реакции на лицах своих офицеров. Никто из них не думал о том, что можно попытаться спастись бегством.

— Мы никогда не были дезертирами, — ответил Вересков, — так почему же мы должны ими стать, когда распоясавшиеся солдаты хотят установить свои порядки?

— Разумеется, ваше высокоблагородие, — продолжил Мазуров, ободрённый словами товарища, — мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу. Разрешите идти?

— С Богом! — ответил Волков, тяжело опускаясь на стул. — Выступайте, как рассветёт.

Ротные уже направились к выходу, как вдруг он остановил их:

— Помните: никого обидеть нельзя. Силой не отнимать, людей беречь, как самих себя.

Ротные, все до одного, согласно кивнули и вышли из избы.

Полковник решил прилечь и вздремнуть до рассвета, но сон не шёл. В избе было темно, только свечка, догорая, еле теплилась под образами. В своём углу сопел Кухарчик, уснувший сразу, как только упал на койку; на печи крутилась хозяйка — то ли ей тоже не спалось, то ли сон её был тревожен.

Волков, не смыкая глаз, прислушивался к звукам, но почти ничего не слышал. Изредка вскрикивала на улице какая-то птица. Потом он расслышал какой-то шелест, что-то застучало по окнам. Пошёл дождь. “Сколько ещё до рассвета? — подумал он и закрыл глаза. — День начинается блеклым утренним светом, а кончится... Нельзя предугадать, что будет с тобой через год, и как мучительно не знать, что случится через несколько часов”.

Сон его был крепок. Он проснулся только тогда, когда Кухарчик хорошенько встряхнул его за плечо.

— Который час? — спросил Волков, глядя на давно не бритое, какое-то тёмное лицо денщика.

— Рассвет с полчаса. Дождь хлещет.

— Ротные отправились?

— Так точно, — ответил Кухарчик. — Чаю изволите?

— Нет, ничего не нужно.

Полковник выглянул в окно. На дворе стояли огромные лужи; крутом вместо дорожек — грязное месиво. Ранняя весна, снег сошёл совсем недавно. Небо серое, низкое, неприветливое.

— Будем ждать, Ярэк, ничего не остаётся, — сказал Волков, разлаживая усы.

— Что же с нами будет? — доверительно просил денщик, вставая рядом с командиром и тоже выглядывая в окно.

— Проживём длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлёт нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя...

Он улынулся и поглядел на Кухарчика. Тот, конечно, не понял, что такое продекламировал полковник, но задумался на время, а затем признался:

— Хорошо-то как сказали, ай, хорошо! Сердце аж потеплело.

Волков похлопал его по плечу:

— Это ничего. Всё перетершим, переживём.

— Хочется верить, ваше высокоблагородие, очень хочется!

* * *

Волков очнулся, оглядел комнату. В метре, в старом истерзанном кресле застыла жена. Положив на колени журнал, она дремала. В немывтое окно лился серый дневной свет. Там, за створками, шумела железная дорога. Мимо шёл товарный состав, громыхая колесами.

Нет, это был не сон, понял Волков. В жару ему привиделась Пасха семь лет тому назад. О событиях тех дней он не вспоминал все эти годы. Сначала было не до них, затем в жизни произошли события более судьбоносные и переломные, как принято говорить. В двадцатом году он в слезах простился с Россией и навсегда запомнил удаляющийся берег Крыма и волнующееся

вокруг перегруженного парохода море. Россия, полоска земли на горизонте, помнилась ему теперь яснее, чем многое другое. Дым из труб того парохода был реальной бесконечных дней и недель, проведённых вдали от Отечества, сначала в Константинополе, потом в Белграде. Наверное, не жизнь это, рассуждал он, пытаясь подняться с подушки и сесть. Жизнь осталась там, за горизонтом. Настоящее — не явь, а кошмарный сон, полный серых дней и шума с железной дороги. Жить хотелось и жить не хотелось. Мечталось вернуться в родной Петроград и жить в нём, летом выезжая в Ялту. Просто жить. И жить не хотелось — здесь, на чужой стороне, где ты только существуешь, мысленно каждое мгновение устремляясь туда, в неизвестную даль, в страну, поруганную большевиками, в страну, ставшую печальным памятником самой себе прежней, такой, какой она никогда уже, наверное, не будет.

Волкову удалось сесть ровно. Заслышав его шевеление, жена наблюдала за ним, не подавая виду, и он не знал, что она не спит.

Теперь предстояло самое трудное — встать. Ему удалось это не сразу. Когда же он, наконец, поднялся и встал сторбенно рядом с кушеткой, жена обратилась к нему строго:

— Куда ты собрался?

— Мне нужно. Тут недалеко.

Он сделал шаг. Затем ещё...

Вот он уже стоит возле платяного шкафа и тянется к дверной ручке. Ещё мгновение, и он откроет его, и оттуда, из глубины, пропитанной запахом нафталина и старой одежды, из глубины, где притаилось его прошлое, выглянет полковничий погон, а затем Волков увидит свой выцветший китель — изношенный, старый. Тот самый китель, в котором он смотрел на уходящий берег Крыма четыре года назад. Пётр Осипович достанет его, уткнётся в него лицом и будет плакать — минуту, две, вечность.

— Петя, перестань, — скажет ему жена, — я сама сейчас заплачу. Не огорчай меня!

— Плачь, Варя, плачь! — воскликнет Волков, сильнее прижимая китель к лицу и целуя его. — Только так мы вернёмся в то время, когда были счастливы.

— Ты жесток, Петя, со мной нельзя так, — ответит она, резко вставая из кресла и уходя прочь.

— Что это с моим лицом? — спросит Волков.

— Я улыбаюсь, — растерянно ответит он самому себе.

* * *

Волков ждал терпеливо. Ему не хотелось, чтобы стрелки на часах шли быстро, как идут они обычно. Лучше бы они замедлились, тогда до рокового часа останется больше времени. Но часы шли, а Волков ждал.

Дождь давно перестал. В деревне тихо, словно все продолжают спать.

Полковник, глядя почти всё время в окно, представлял, как его люди теперь ходят по домам и спрашивают у крестьян, нет ли у тех яиц или муки. Те, конечно, отвечают, что давно ничего нет, но ротные всё равно переспрашивают. Может, не раз, не два. Волков надеялся, что ротные терпеливы с крестьянами, голоса не повышают и не угрожают силой. «Может ли быть такое, что они хоть что-нибудь отыщут? — задавался вопросом полковник. — Может ли статься, что мы спасём свои шкуры, как выразился штабс-капитан? Всякое возможно. У Бога для человека много сюрпризов — и хороших, и скверных. За каждый нужно благодарить...»

— За каждый нужно благодарить, — повторил он вслух.

— Как вы сказали? — переспросил Кухарчик.

— За всякое нужно благодарить Господа: и за дурное, и за приятное, и за важное, и за пустяк.

— Я благодарю! Не далее, как сегодня ночью, благодарил, не спал.

— Ты же сразу уснул, как головой подушки коснулся, — улыбнулся Волков.

— Никак нет, я молился!

— Похрапывая?

— Это я так напряжённо сопел, — смутился Кухарчик.

— О чём же ты молился?

— Спасибо Христу говорил, что не сейчас застрелили, а дали новый день увидеть.

— Ну и ну, — только и ответил полковник.

— Чего ж не благодарить...

Со стороны дороги послышался стук копыт. Вскоре показался всадник. Он въехал во двор, спешился и поглядел на окна. Заметив лицо полковника за мутными стеклами, Могилевский лишь развёл руками. Волков понял всё без доклада, который капитан сделал спустя полминуты.

— Вообще ничего? — спросил Волков у капитана.

— Ни крупинки муки. Яиц пара...

— Будем ждать других, — решительно сказал полковник.

— Думаете, найдут, другие-то? — робко спросил Могилевский.

— Я с самого начала полагал затею обречённой. Но не сидеть же на месте.

— И то верно, — согласился капитан. — Вы не вспоминайте, что я говорил прежде. Я ведь на деле ничего не боюсь: расстреляют, так пусть, не много мне в том печали. Жаль одного: жена и дети ничего обо мне не узнают. До конца жизни будут думать, что сгинул навек. А жив ли, мёртв ли — никто им не скажет.

— Двое у вас?

— Трое! Два сына и дочка, младшенькая. Я её видел-то раз всего, когда родилась. А потом война... Сам, знаете, думаю, как же это я выжил, ведь когда с генералом Самсоновым из окружения вырвались, уверен был, что подохну в тех лесах и болотах. Стольких товарищей непогребёнными лежать оставил! А сам вот, видите, живой. — Могилевский усмехнулся. — Жи-во-о-й!

Это последнее слово показалось Волкову странным, как будто незнакомым до этой минуты. В нём слились неясная тревога, гудевшая в груди, у самого сердца, и удивительная радость, зашевелившаяся в уголках губ. Полковнику вдруг стало легко, будто не было у него на уме никаких забот, и не шла война, и он не ждал никаких известий.

Перенесшись мысленно в свою квартиру на набережной Фонтанки, в дом, стоящий на пересечении с Гороховой, где прожил он с женой около пяти лет, полковник припомнил долгие зимние вечера, тепло печки, круг от лампы с зелёным абажуром на письменном столе, раскрытую книгу перед собою, поблескивающие зрачки жены, сидящей тут же, на песочного цвета диване. Вспомнив теперь об этом, он печально вздохнул и даже махнул рукой, словно на всё то, что никогда в его жизни уже не повторится. Был ли он огорчен тем, что минувшее не воротить, он не знал. Он вообще не понимал, что именно сейчас важно: невозвратное былое, беспокойное настоящее или неведомое будущее, которого у него нет и быть не может.

Возвращались ротные, сообщая, что ничего найти не удалось, даже в деревне, где, по слухам, живёт пара самых зажиточных местных крестьян. Завершив доклад, ротные садились на низкую скамейку подле печи и замирали. Волков, кажется, понимал, о чём они думают, но утешить ничем не мог. Ему самому неоткуда было взять утешение.

Когда же вернулся последний из посланных на поиски ротных, Волков всех поблагодарил за работу, посмотрел на часы (было без четверти пять), приказал Кухарчику седлать лошадей и вышел на крыльцо.

Воздух был холодный, ветер пробирал до костей. Мокрая от прошедшего дождя земля казалась мёртвой и чёрной. Когда Кухарчик подвёл лошадей, полковник, не медля, запрыгнул в седло и, приказав денщику следовать за ним, выехал со двора.

Проезжая мимо одного из домов, он заметил Федулова, крутившего папиросу и поглядывавшего на дорогу. Заметив командира полка, унтер-офицер в шутку вытянулся в струнку, как того требовал прежний, устаревший

теперь устав, и широко заулыбался. “Сейчас спросит”, — подумалось Волкову, однако Федулов ни слова не проронил, но по взгляду его полковник прочёл, что тот всё знает, но пока ждёт, когда приблизится час расплаты. Волков был уверен, что Федулов и его товарищи больше куличей ждут момента, когда наставят дула винтовок на своих командиров и, нащупав не сомневающимися пальцами курки, спустят их, позабыв обо всём, сладострастно желая увидеть чужую смерть, как будто за годы войны эту самую смерть они видели недостаточно.

Сам Волков каждую новую смерть встречал отрешённо, отводя глаза. Он был привычен к виду крови и мёртвых тел, но сердце его, так и не зачерствевшее (о чем он порой жалел), не хотело принимать всё то, что видели глазами. Насильственная смерть до сих пор представлялась ему явлением странным и нелогичным.

Федулов и его мерзкая улыбка остались позади, и вскоре полковник и его денщик выехали из деревни. Кухарчик, наконец, прервал молчание:

— Куда едем, ваше высокоблагородие?

— В Середняки, — решительно ответил полковник.

— Это ж пятнадцать верст в одну сторону, а уже темнеет.

— Сам вижу, — раздражённо бросил Волков.

— И что там, в Середняках? Найдём разве что? — продолжал расспрашивать Кухарчик, не любивший подолгу молчать.

— Поглядим, — всё так же раздражённо ответил полковник, и денщик понял, что расспросами его лучше не донимать.

* * *

Скакали, казалось, целую вечность. В темноте, по плохой дороге, которую и дорогой тяжело было назвать. Лошади местами шли неуверенно, увязая в грязи. Небо прояснилось, выступили тусклые звёзды. Волков смотрел то на них, то вперёд, в холодную мглу; прислушивался к стуку копыт, к чавканью грязи под ногами лошадей. Он был уверен, что едут они в деревню, в которой ещё не побывали его ротные, напрасно и ничего там найти не удастся. Но ему опостылело сидеть в доме, в тишине плохо натопленной избы, где хозяйка, хотя и молчала, то и дело посматривала на него обеспокоенно. Ему хотелось надыхаться теперь, пусть и говорят, что перед смертью не надыхаешься; ему хотелось побыть наедине с мрачной природой, ещё не отделившейся до конца от дыхания долгой зимы. Ему многого хотелось в эти минуты, но он сознавал, что чем больше желаний, которым не суждено было сбыться, тем сильнее печаль, ненавистнее обстоятельства, тем жалче самого себя. А жалеть себя он намерен не был.

Тот, кто жил в крайнем доме в Середняках, явно прислушивался к тому, что происходило на улице. Стоило только Волкову и Кухарчику въехать в деревню, как свет в доме погас.

Полковник спешился у самого тына, постоял в нерешительности, затем прошёл во двор и постучал негромко в дверь. Никто не ответил. Он прислушался: внутри тихо. Он знал, что люди там есть. Постучал повторно.

— Уходите, — послышался из-за двери женский голос.

Волков поглядел на Кухарчика, тот лишь пожал плечами, как делал это в большинстве случаев, когда полковник обращался к нему с каким-либо вопросом.

— Послушайте, — неуверенно произнёс Волков, — мы свои, русские...

— Вас, своих, полным-полно развелось, — ответили из-за двери. — Уходите ради Бога. Тут только я и мой старик, но он третью неделю не встаёт, видать, кончается. Ступайте!

— Давайте уйдём, — неожиданно предложил Кухарчик. — Не нужно трогать этих людей.

Волков, не отвечая, вышел со двора, взял коня под уздечку и зашагал к следующему дому.

— Никого, наверное, ваше высокоблагородие, — заметил Кухарчик, глядя на тёмные окна второго дома. — Тоже, что ль, попрятались?

— Выясним, — строго ответил полковник.

— Тут это, глядите, тряпье какое-то по двору разбросано, — сказал денщик, озираясь. — Ну, и бардак. Осторожней, не споткнитесь!

Предупредил он поздно, когда Волков уже споткнулся обо что-то и, едва-едва удержав равновесие и чуть не упав, выругался.

— Похоже, не живёт тут никто.

Волков постучал кулаком в дверь; та, скрипнув, приоткрылась.

— Ну, говорю же, никого, пусто! — как-то даже обрадованно воскликнул денщик.

— Не совсем, — ответил Волков, пригибая голову и входя в избу.

Сразу же в нос ему ударил знакомый сладковатый запах разложения. Полковник достал из кармана платок и приложил его к лицу. Он внимательно осматривался во мраке, но толком ничего не мог разглядеть. Когда глаза чуть-чуть привыкли к темноте, он заметил на полу возле окна какую-то грудку вещей. Нет, это не грудка, решил он спустя мгновение, а тело.

— А вот и свечка! — сказал Кухарчик, зажигая её.

— Посвети сюда, — попросил полковник, указывая рукой на труп.

— Слушаю... — Голос денщика осёкся, когда свет вырвал из темноты человеческое тело, уже поддавшееся гниению.

— Дай свет сюда, Кухарчик! — нетерпеливо приказал полковник, отнимая свечу у растерявшегося денщика.

Он приблизился к трупу со свечой в руке и, не особо церемонясь, носком сапога попытался перевернуть его. Труп не поддался. Тогда Волков наклонился над ним и свободной рукой дёрнул труп за плечо.

— Вот дела. А чего это он одет, как баба? — удивился Кухарчик.

У их ног лежал старик, переодетый в женское платье.

— Убили, — констатировал Волков, осматривая два пулевых ранения в животе и груди.

За спиной раздалось гроыхание сапог денщика, выбегающего из дома. Через секунду он услышал, как того рвёт. Тут вдруг полковника осенила внезапная мысль: что, если у этого мертвого где-то спрятаны мука и яйца? И тогда как хорошо было бы — "...смертию смерть поправ..."

Через минуту молодой поляк вернулся в дом со слезящимися глазами.

— Простите, ваше высокоблагородие. Никак привыкнуть не могу...

— Это ничего, — ответил Волков. — Поищем, пожалуй...

* * *

Полковник ехал мрачный, погружённый в себя; он даже не слышал, как Кухарчик обращался к нему дважды. Поняв, что командир совсем не в духе, денщик решил его не отвлекать и вскоре сам погрузился в размышления.

Впервые за всё это время Кухарчик задумался о том, какая участь ждёт его самого, ведь обещано было, что под расстрел пойдут командир полка и ротные, а про него, обыкновенного денщика, слова не сказали. Теперь он всерьёз озадачился вопросом, не пустят ли в расход и его за компанию, если можно так выразиться. Мысль об этом испугала Кухарчика, и он хотел было обратиться с этим важным вопросом к полковнику, но побоялся.

“Как бы избежать?” — размышлял он, вспоминая родной дом в Радоме, где остались у него мать-вдова и две младших сестры. Писем от них не было с самого конца первого года войны, и он не ведал, живы они или нет, живут ли на оккупированной немцами территории или бежали на восток, поближе к столице или, быть может, Москве.

Двадцать два года, которые прожил Кухарчик на свете, казались ему ничем. “А что у меня в жизни было? — спрашивал он сам себя и с печалью отвечал: — Да ничего не было. Женщину толком не познал, только с продажными имел дело... А они ничего не значат. Любви не было даже. То есть

была, но без ответа, печальная любовь, грустная и глубокая, с ума сводившая, нервы поистрепавшая”.

Конь под полковником перешёл на шаг. Кухарчик притормозил своего.

— Недолго осталось, — задумчиво проговорил Волков.

— Так точно!

— Даже не знаю, что нас с тобою ждёт. Как думаешь, там они уже?

— Кто?

— Федулов и его депутаты. Ждут нас, думаешь?

Кухарчик пожал плечами. Сердце его стучало быстро, кровь пульсировала в висках. Голова сделалась тяжёлой. “Так, наверное, страх к голове приливает”, — подумал он.

— А вы... Вы боитесь? — спросил он полковника.

— Ты хочешь узнать, жалко ли мне жизнь свою отдать?

— Ну да, наверное...

— Жалко, очень жалко. Потому, что без цели её отдам. Ни за грош. Чего хорошего упасть в лесу, сражённым пулей, пущенной твоим же солдатом? Да не по ошибке пущенной, а преднамеренно, с расчётом. Не так я думал кончить эту войну.

— А как? — тихо поинтересовался Кухарчик.

— В лучшем случае победой, в худшем — в честном бою, от руки врага.

— А победа... Она возможна?

Последний вопрос Волкова рассмешил:

— Это следует у Керенского спросить или у тех, кто в Петрограде себя властью объявил. И у солдат, — прибавил он затем, — которые мира требуют. Любой ценой. Мира и власти над офицерами. Нет у них иных желаний. Вот ты, Ярек, почему не с ними?

— С кем это?

— С Федуловым и его друзьями. У них первый приказ Керенского важней Библии теперь.

Кухарчик перекрестился.

— Куда уж важней Библии, скажете тоже!

— Так почему ты не с ними?

— Я не знаю, ваше высокоблагородие... Хотите верьте, а хотите нет, но мне старые порядки по душе, а это — напридумывали... Не разберёшь, к чему призывают, за что агитируют. Помните, агитатор приезжал? Я так и не понял, о чём он толкует, а его и след простыл, едва услышал артиллерийскую канонаду за лесом.

— Это верно, — согласился Волков, — понять их нелегко...

В избе, в которой квартировал полковник, вопреки его ожиданиям никого, кроме хозяйки, не оказалось. Он с порога осведомился, не приходил ли кто к нему, и, получив отрицательный ответ, немало удивился, но решил между тем, что всё же скоро придут, ждать не заставят.

В полночь пили чай. Ложиться никто не собирался. Хозяйка, забравшись на печь, не отгородилась занавеской и лежала, подложив под голову ладони, всё смотрела на полковника. Он изредка перехватывал её взгляд на себе и смущался: ему казалось, что слишком много нежности в том взгляде, нежности нерастраченной, нежности, истосковавшейся, наверное, по мужику. Взгляд этот был ему ясен, но вместе с тем неприятен, будто им она хотела его утешить, заставить забыть о том, что происходит. Но он ждал.

Он ждал. До часу, до двух, до трёх. После трёх его сморил сон: он уснул, положив голову на стол. Очнувшись через пару минут, открыл глаза и принялся рассматривать испещрённую порезами поверхность дубового стола, судя по всему, старого, сколоченного, видимо, ещё при ком-то из родителей хозяев дома.

Хозяйка тихо спала на своей печи, так и не задвинув занавеску. Кухарчик, напротив, не спал: он глядел в тёмный двор, сидя неподвижно и беззвучно. Взгляд его был напряжён. Такого лица у своего денщика полковник ещё не видел: до этой ночи все выражения лица молодого поляка были как будто легкомысленны, а теперь лицо его выражало тревогу и какую-то болезненную горечь и, быть может, невысказанную обиду.

Около шести утра во дворе зазвучали голоса. Полковник поднял голову от стола и поглядел на Кухарчика. Тот внимательно наблюдал за происходящим снаружи, в утренних сумерках.

— Два десятка солдат. Федулов с ними, — комментировал денщик. — А вот, погодите, ведут наших офицеров. Все, кажись, тут. Руки за спиной. Смотри-ка, арестовали!

Волков приблизился к окну. Действительно, все были тут: Могилевский, Вересков, Мазуров, Грибков, Сергеев, Вольнский. Могилевский заметил в окне лицо своего командира и теперь смотрел на него. Волков кивнул капитану и отошёл вглубь избы.

— Что ж, пора, — решил он. — Не будем дожидаться, пока они сами войдут сюда. Выйдем навстречу.

— Ваше высокоблагородие, — еле слышно проговорил Кухарчик, — а мне-то что делать? Как же я?

— Оставайтесь тут и не выходите, — вынужденно улыбнулся полковник, видя страх в глазах своего денщика. — Вас они не тронут.

Как-то обреченно опустил Кухарчик на стул и обхватил руками голову. Он не видел, как полковник выходил из избы, слышал только, как хозяйка крикнула тому вслед:

— Шинель возьмите!

Волков отмахнулся от неё и прикрыл за собой дверь.

У крыльца его уже ждали. Федулов выглядел бодро и свежо — видимо, хорошо спал минувшей ночью.

— Доброе утро, господин полковник, — приветствовал полковника солдат, передавая свою винтовку одному из товарищей, стоявших рядом, и протягивая командиру руку.

— Если вы пришли меня арестовывать, — ответил полковник, не протягивая руки в ответ, — то делайте свое дело. Комедий тут разыгрывать не нужно.

— А вы храбрец, господин полковник, — хохотнул кто-то из солдат.

Волков отвечать не стал.

— Итак, господа офицеры, — произнёс Федулов торжественно, когда командир сошёл с крыльца, а он остался стоять на нём один, — вчерашнего дня наша депутация вежливо потребовала от вас подготовить всё для разговения нашего полка в связи с Пасхой, которая будет иметь место завтра. — Говорил он до того нескладно, что, разочарованный, полковник даже громко сплюнул себе под ноги. — Как мы понимаем, и, видимо, господам офицерам нечем будет это опротестовать, ни куличей, ни яиц, необходимых для празднования Христова Воскресения, у нас не будет. В связи с этим комитет постановил наказать офицеров полка, не желающих заботиться о солдатской доле, не считающихся с интересами полка и его наиглавнейшими потребностями.

— Тебе бы в Петрограде с трибуны голосить, — зло бросил штабс-капитан Вересков.

— Вы ещё получите возможность высказаться, а пока я попрошу вас помолчать.

— Кончайте, Федулов, слушать тошно, — негромко сказал полковник, ежась от холода. Сейчас он уже жалел, что не взял с собою шинель.

— Как я уже сказал, комитет постановил наказать офицеров полка...

— Иными словами, обезглавить и без того натерпевшийся полк, когда идёт война, — проговорил Волков, негромко обращаясь к офицерам.

— ...и приговорить их к расстрелу, — продолжал Федулов, не обращая на него внимания. — Приговор привести в исполнение желаем сейчас, не откладывая на завтра, когда мы будем вспоминать о Христе, отдавшем жизнь свою за грехи наши.

— Ну, пономарь, — не сдержался Вересков, — как будто всю жизнь перед народом выступаешь.

Федулов сошёл с крыльца, подал знак солдатам, и те заторопили ротных,

выгалкивая их прикладами на дорогу. Волкова никто связывать не стал, но обступили его два солдата и, взяв под руки, повели вслед за остальными. Позади всех шёл Федулов, а с ним ещё четыре человека.

Волков не смотрел по сторонам; взгляд его был устремлён прямо, в спины ротным. То один, то другой оборачивались на него как будто с немим вопросом: “Что дальше?”

Шли медленно, долго, томительно. Полковник замёрз, ещё когда стоял во дворе, слушая нелепый солдатский приговор; теперь же холод пронизал всё его тело, которое ныло, тщетно пытаясь сопротивляться морозному воздуху и порывам ледяного ветра. День сегодня был намного холоднее вчерашнего.

Волков утешал себя мыслью, что скоро всё это кончится — вот это мучение, этот долгий путь неизвестно куда (может быть, к берегу пруда за деревней), сама эта глупая история. С каждым шагом собственная судьба становилась ему всё безразличней; жаль было только ротных, с половиной которых он прошёл долгий путь: делил с ними радости и невзгоды, победы и поражения. С ними не раз ходил в атаку, не раз отступал, бросая позиции, уходя с низко опущенной головою. Они давно сделались ему близкими людьми, только он ни разу не говорил им об этом — ни Могилевскому, ни Мазурову, ни Верескову. Не потому, что был не слишком сентиментален и не позволял себе подобных разговоров, а потому, что считал подобные признания ненужными, расхолаживающими, лишними на войне. “Вот доживём до победы, до послевоенного времени, тогда и признаемся друг другу, в чём ещё не признавались”, — думал он. Когда погиб в его полку один капитан, очень хороший человек, с которым он шёл с самого начала войны, Волков горько плакал над его могилой в прифронтовом лесочке, между трёх молодых елей. Плакал и жалел об одном: ни разу не признавался капитану в своем расположении, в своих дружеских чувствах, в своей привязанности, в своей благодарности за всё. Корил себя, понимая, что порою глупо держать чувства в себе. Но было поздно.

Выйдя из деревни, повернули налево. “Значит, не к пруду ведут, — решил полковник, — куда-то ещё”. Вскоре показался березняк — голый, редкий, какой-то сиротливый. “Неужели здесь? — пронеслось в голове Волкова. — Вот здесь, среди тоненьких стволов берёз, обдуваемые ветром, и погибнем? Как нелепо. Несправедливо!”

И действительно, вскоре оказались среди берёз. Шуршали прошлогодними листьями, пережившими зиму под снегом, который ещё лежал клочками то тут, то там; глубоко дышали, выпуская облачка пара; переглядывались, понимая, что всё — финал, никуда не деться, не убежать, не миновать скорбной участи. Оставалось сгинуть в Полесье, чтобы никто из родных никогда не узнал о случившемся.

Молча расставили солдаты арестованных офицеров в одну шеренгу, лицом к дороге, сами выстроились перед ними. Федулов прохаживался меж своих людей с озабоченным видом, то и дело поглядывая на дорогу, в ту сторону, откуда пришли. Волков тоже стал смотреть в том направлении и через несколько минут заметил приближающихся солдат, волнующуюся волну шинелей и ряд штыков над нею. Когда солдаты подошли к месту расстрела, полковник понял, что Федулов привёл сюда всю свою роту. “Неужели каждый будет стрелять?” — подумал про себя Волков.

Кое-кто из пришедших присоединился к расстрельному взводу, остальные же встали за их спинами, мрачно поглядывая на арестованных офицеров.

Волков поймал себя на том, что дрожит. Дрожит от холода. Дрожь эту следовало унять, чтобы в глазах своих палачей выглядеть достойно. Это ему не удавалось, и он злился на себя.

— Жаль, шинель не захватил, собачий холод, — сказал он Могилевскому.

— Это вы, действительно, зря, ваше высокоблагородие, — согласился штабс-капитан. — Но уж недолго, перетерпите.

— Терплю.

— Эй, ну, сколько можно ждать? — не выдержал Вересков, делая шаг вперёд. — Кончайте это. Это же сущее мучение. И нас не мучьте, и сами расходитесь. Устроили целый митинг, ей-богу.

— А ну молчать! — прикрикнул на него Федулов.

По его лицу видно было, что он сам уже не рад тому, что происходит. Вероятно, он предполагал, что всё произойдёт по-другому: что рота подойдёт к березняку с бравой песней на устах, с блеском в глазах, с чувством справедливости, которая вот-вот воцарится, когда зазвучат по лесу десятки винтовочных выстрелов. Но люди пришли угрюмые, неразговорчивые, и неизвестно было, что у них на уме.

— А я не хочу молчать, — ответил Вересков. — По праву офицера я хочу говорить.

Федулов подскочил к капитану и сильно двинул тому кулаком в грудь. Вересков качнулся, но на ногах устоял. На какое-то время ему ударом перебило дыхание, но, восстановив его, капитан, смеясь, поглядел в глаза солдату:

— Другого ты и не можешь. Сегодня ты и твои люди, как вы себя ни называйте, покроют себя позором на всю оставшуюся жизнь. Грех, что берёте на себя, не смаете, даже если героями падёте под пулями врага. Вы теперь хотите мира, но его не будет. Случись мир с немцами и австрийцами, хотя его такие, как вы, не заслуживают, мира не будет в ваших сердцах. Вы, я обещаю вам это, навсегда запомните сегодняшнее утро. Наши тела, лежащие вот на этой земле, будут вам снится вечно, до самой старости, если только вы до неё доживёте. Помните мои слова. Идет война, а значит, мы должны жить по её закону, служа Отечеству, а если не Отечеству, которого, судя по всему, у вас нет, то самим себе. Вы даже не солдаты, вы сборище проходимцев. Смотреть на вас без презрения не могу.

— Да какая нонче война! — запротестовал кто-то из солдат. — Нонче свобода!

— Вашу свободу мы знаем, — ответил Волков, с благодарностью глядя на Верескова. — Ваша свобода — это красть, пить и насильничать. Другого вам не нужно. Когда бьёте старика, вы бесстрашные. Когда срываете с бабы одежду и валите её на землю, чтобы изнасиловать, вы герои. Когда пьёте водку в окопах, вы молодцы. А когда враг наводит на вас свою артиллерию, вы бежите в кусты, обделавшись от страха. Вот она, ваша свобода.

— Его высокоблагородие совершенно справедливо заметил, что ваша свобода ничего не стоит, — поддержал командира Вересков. — Вы трусы по своей природе. Наглецы и трусы. На ваших лицах...

Не успел капитан договорить, как раздался выстрел. Это Федулов выхватил из-за пазухи маузер и выстрелил в ротного. Ротный качнулся, на губах его выступила кровь и потекла по подбородку, закапала на землю. Он посмотрел на Волкова и как-то моментально обмяк и рухнул вниз.

Все замерли, глядя на распластанное на земле тело, из которого быстро выходила жизнь. Вересков вздрогнул, захрипел и смолк.

— Пойдите, и меня, меня расстреляйте!

Это был Кухарчик. Он бежал, то и дело спотыкаясь, прижимая что-то к груди. Едва он приблизился, Волков понял, что это шинель.

— Вот, ваше высокоблагородие, наденьте. Холод нечеловеческий.

Волков похлопал его по плечу и забрал из его рук свою шинель.

А потом полковник услышал звук, который был ему хорошо знаком — резкий, неприятный, от которого всё внутри переворачивается. Звук входящего в плоть штыка. Потом ещё один, и ещё...

Трое солдат, стоявшие рядом с Федуловым, не сговариваясь, вдруг повернули свои штыки против него и пронзили его тело. Кажется, они растерялись не меньше всех остальных — все трое бледные, перепуганные.

— Прощения просим, господин полковник, — сказал кто-то из солдат, — молим не сердиться шибко.

Как по команде, которой никто не слышал, солдаты потянулись к дороге. Они шли по ней, опустив головы и не говоря меж собой. Волков и ротные стояли неподвижно, глядя им вслед. Кухарчик от удивления развёл руки в стороны, да так и застыл, подобно статуе. Резкий ветер бросал в лица снежинки, вдруг посыпавшиеся с неба.

Полковник Волков накинул принесённую шинель на плечи. Ему уже не было холодно — с холодом он свыкся. Он смотрел то вслед возвращавшимся

в деревню солдатам, то на своих оцепеневших офицеров, то на тела Верескова и Федулова, то на тонкие стволы берёз. Он не понимал, что происходит.

* * *

Он лежал на сырой от пота кушетке, не выпуская из рук полинявший от времени китель с полковничьими погонами, которые он однажды спорол и долго носил в потайном отделении чемодана. Когда-то ему было стыдно носить их. Не сами погоны вызывали в нём стыд, а мысль о том, что он, нося их, не сберёт ничего из того, что любил: ни Отечества, ни своих офицеров, ни солдат. Ему было стыдно, что он не остался в России тогда, когда она в нём нуждалась, когда она умирала на его глазах. Сейчас слёзы текли от ощущения стыда за то, что Россия умерла, и он причастен к этой непоправимой трагедии, которая не забудется в веках.

Он рыдал и не мог успокоиться; жена находилась рядом, гладила его седые волосы, целовала его пальцы, крепко вцепившиеся в китель, и приговаривала:

— Ничего, Петя, пройдёт, затянется рана. Однажды. Когда-нибудь.

Он слушал её, и ему хотелось верить, что всё будет так, как она говорит. Сердце ныло всё сильнее, билось со страшной силой, а в лёгких становилось всё меньше воздуха.

Ему было стыдно, что там, в далёкой России, остались его сын и дочь. Ни он, ни жена не знали, среди живых они или среди мёртвых.

Он жадно глотал воздух и не мог им насытиться. Жар разливался по телу, в ушах трещало — трещало так, будто за одну минуту он услышал все выстрелы, раздавшиеся на той войне.

За окном, по железной дороге, покатила очередной товарный состав. Куда он идёт? Что он везёт? Кто им управляет?

Когда ближайший поезд до России? Есть ли свободные места? Полковнику необходимо на него сесть. Ему необходимо вернуться.

— Я вернусь! — хрипит полковник, выпуская китель из рук.

АВГУСТ ВАНИ МАТВЕЕВА

1

Матвеев вернулся из Афганистана в мае, в семь тридцать утра. Он простился с водителем на шоссе, шёл знакомыми улицами, а кругом трепетали красные флаги, не снятые ещё после Дня Победы.

Матвеев вошёл во двор под пение птиц, положил вещмешок на землю и посмотрел на окна своей квартиры на втором этаже. Кухонное окно было открыто, но происходившее внутри скрывали тюлевые занавески. “Мать, наверное, спит”, — решил он сразу и перевёл взгляд во двор.

Здесь мало что за последние два года переменялось, только подросли сиреневые кусты и покосился палисадник у первого подъезда. Исчез стоявший там же дряхлый “Москвич”, вечно накрытый брезентом, засиженный птицами, не сдвигавшийся с места долгие годы. Сколько ни говорили Иванычу, его хозяину, что, раз машина не на ходу, нужно расстаться с ней и не портить общей опрятности двора, тот не соглашался, твердя, что автомобиль дорог как память, и однажды он поедет на нём куда-нибудь. Но в светлые, а может, тёмные дали Иваныч отправился собственным ходом, оставив машину под домом. Он умер зимой, и вскоре его сыновья избавились от рухляди, мешавшей всем вокруг. Об этом и прочих событиях Матвеев узнал из материнских писем, целая пачка которых лежала на дне его выцветшего вещмешка.

Письма матери, с самого первого, Матвеев решил сберечь, сохранить для, быть может, самого себя, чтобы перечитать заново, когда пройдёт достаточно времени. Сколько именно, он не загадал.

Мать писала часто и всегда по существу: случилось следующее, огорчена тем-то, обрадована, потому что... Увидев однажды под письмом размытую подпись, Матвеев решил, что сюда капнула слеза, и прижался к этому месту щекой, и долго лежал так на втором ярусе кровати в палатке-казарме, прогретой двумя печками. Потом курил на морозном вечернем воздухе. Кругом высились горы, а над ними догорал закат. Вдалеке, — казалось, что со всех сторон, — слышалось стрекотание вертолётчиков. Матвеев думал о письме, которое аккуратно сложил и убрал в карман куртки. Он рассудил, что мать хорошо поступает, никогда не заклиная его вернуться живым и здоровым, как делают это матери его товарищей, лишь расстраивая своих адресатов. То, что мать не пишет подобных вещей, Матвеев считал благом: выходило, что он временно работает вдали от дома, и вряд ли что-то дурное может с ним произойти. Он давно уверился, что чем меньше говоришь вслух о возможных бедах, тем меньше вероятность, что они случатся.

Письмо с размытой подписью Матвеев долго носил в кармане у самой груди. До тех самых пор, пока не заметил, как сильно оно истрепалось, и тогда он вложил измятый конверт в другой конверт и припрятал среди вещей.

Сам он писем писать не любил, но корреспонденцию домой отсылал регулярно, как только выдавалась свободная минута. Он писал по три-четыре вымученных строки, не упоминая о том, что на самом деле его гложет и свидетелем каких событий он становился ежедневно. О последнем писать в Союз запрещалось. Поначалу этот запрет, наложенный замполитом Чесноковым, показался Матвееву диким, но затем он осознал, что замполит, скорее всего, прав. Незачем им там, на гражданке, знать обо всём, что происходит здесь. А позже, когда ему в руки попал дневник погибшего товарища, он уверился в этом ещё сильнее. В той тонкой тетради, заполненной лишь наполовину, в последней записи говорилось: “Этот дневник я вести больше не буду, иначе мне придётся поведать о многих страшных вещах”. Запись была датирована декабрём, а погиб её автор спустя полгода.

Матвеев твердо решил, что писать о тех самых страшных вещах не следует.

Обыкновенно его письма звучали так:

Здравствуй, мама! Горячий привет из ДРА всем родным и друзьям! Как вы там живёте? Сегодня четверг. Старший лейтенант приволок откуда-то гармонь. Играли двое или трое по очереди, но как-то неумело, и всё равно собралась желающие послушать. Это было трогательно. У нас по-прежнему очень жарко. На солнце +50. Я извёлся. Ты такой жары представить не можешь. Пришли, пожалуйста, несколько конвертов и лезвия для бритвы. Только, если возможно, не “Неву”. Твой Иван.*

Он стыдился собственного косноязычия, проклинал себя за словесную жадность, но ничего поделать с собой не мог, сколько ни уговаривал себя стать хоть на толику разговорчивей. Писать он умел: школьные его сочинения не раз ставились в пример одноклассникам, но с письмами из Афгана не заладилось с первых дней. Не мог он найти нужный тон, подобрать подходящие слова.

Ещё он писал трём школьным друзьям и однокласснице Алисе. Она ответила ему дважды, и после второго письма, в котором она рассказала, как учится в институте, и о том, что всерьёз и надолго влюблена, Матвеев писать ей прекратил. Он не сумел примириться с мыслью, что где-то далеко, в красивой осенней Москве Алиса ходит с кем-то под руку по усыпанным листьями скверам и бульварам. Думать об этом было неприятно. В те дни он проходил подготовку в школе сержантов, и ему грезилось, что он приезжает в столицу, одетый в парадную форму с тремя поперечными красными полосами на погонах, и, как будто случайно встретив Алису с её ухажёром,

* Демократическая Республика Афганистан.

проходит мимо, не узнавая, не замечая знака, который она делает рукой, не слыша её окрика.

Он не ответил ей на третье и четвёртое письмо; мать написала ему, что Алиса заходила и спрашивала о нём. Он ответил матери, но не в следующем, а через одно письмо, посланное уже из Афганистана: “Алисе скажи, что у меня всё благополучно, и я скучаю по осенней листве. По листве скучаю”.

2

На часах без десяти восемь. Мать ещё точно не встала.

Он не стал сообщать, когда приедет, зная, что она ночами спать не будет, и тогда у неё поднимется давление.

Но мать уже не спала и сидела на кухне, тыкая кончиком остро заточенного карандаша в незаполненные клетки кроссворда, и вспоминала, о чём говорили накануне во “Времени”, но так и не вспомнила ни одного репортажа, и когда раздался неожиданный звонок в дверь, она вытерла мгновенно вспотевшие руки о передник, поднялась с табурета и прошла в коридор мимо незавершённого эскиза, сделанного сыном когда-то давно и хранившегося теперь под стеклом в простенькой раме. Посмотрела в глазок, отшатнулась от него, хватаясь за цепочку и срывая её, повернула что было сил колесо замка, щёлкнула собачкой и распахнула дверь, и тогда её сын, её Ваня, сделал шаг вперёд, переноса через порог ногу, а за ней вторую, позволил матери, на глазах которой выступили слёзы, на губах которой проступила смущённая улыбка, обнять себя. И едва она прижалась своим постаревшим, как он заметил, лицом к его груди, поцеловал её в макушку, прислушался к запаху её волос, зажмурился, шмыгнул по-детски носом, а она нащупала его руку и с ужасом воскликнула: “Где же твои пальцы, сынок?” Он разжал кулак и тут же показал, что все пальцы при нём, и затем поднёс к её лицу вторую руку, чтобы она удостоверилась, что с ним ничего не случилось, и позволил себя осмотреть. И мать убедилась, что никаких видимых повреждений на нём нет. Рассмотрев его настолько внимательно, насколько это было возможно в полутёмном коридоре, и определив, что переживать ей не о чем, она снова приложила ухо к его груди и стала слушать, как бьётся его сердце.

Ей вспомнилось, что когда Ваня только родился, когда ему было четыре месяца, он тяжело заболел и лежал с высокой температурой, и она так же прижималась к его грудной клетке и слушала его маленькое сердечко: оно колотилось торопливо, словно куда-то спеша. Ей захотелось, чтобы и он послушал теперь, как бьётся сердце у неё самой, а он и слушал: ему казалось, что он слышит.

Первыми её словами, едва отступили растерянность, неуверенность, тревога, страх и прочие неприятные чувства, были: “Ты, наверное, очень голодный? Так я сейчас...” И он согласно кивнул, хотя очень хотел спать. Ему неловко было отказать матери в эту странную минуту встречи после бесконечной разлуки. Встречи, которую, конечно, по дороге в Союз он представлял иначе, рисовал другими красками — лёгкой акварелью, а не густой гуашью, наполнившей вдруг своим запахом коридор. Так пахло однажды вечером, когда во всей школе погас свет, и ученики замерли за партами с кистями в руках. В классе было так же неуютно и тревожно, как сейчас, когда он вернулся, такой незнакомый и непривычный самому себе среди этих обоев с выгученным наизусть рисунком, деревянных вешалок на стенах и лампы с персиковым абажуром. Он был словно гость, впервые зашедший в этот дом. И Матвеев поспешил пройти за матерью в светлую комнату, позволил забрать у себя вещь мешок и усадить себя в кресло с прохудившейся тканью на подлокотниках.

Вот сейчас он впервые за последние минуты сделал свободный вдох.

3

Затем долго сидели на кухне. Мать позвонила на работу и отпросилась.

Матвеев молчал и глядел во двор, где по-прежнему было тихо. Мать макала один за другим куски рафинада в чай и обсасывала их, не сводя глаз с сына.

Индийский чай из жёлтой пачки пах непривычно, и Матвеев, сделав два глотка, удовлетворенно отметил, что наконец-то пьёт приличный чай, а не ту бурду, которой давился последние два года. Мать стала предлагать бутерброды, но в холодильнике не оказалось ничего, кроме крохотного куска сыра, и ей пришлось извиняться, что она не готова была к его появлению. А он улыбался и прощал её, шепча: “Всё в порядке, мама, всё в порядке...”

Совсем не таким пригрезился ему в самолёте день прибытия домой. Он отчего-то думал, что стоит ему появиться в родном дворе, как сразу же ему повстречаются знакомые и наперебой начнут спрашивать, здоров ли он, в хорошем ли расположении духа, что повидал в заграничной командировке, а он, небрежно вытаскивая из пачки сигарету без фильтра, ответит: “Обо всём расскажу, дайте только мать обнять...” Теперь же он думал, что даже к лучшему, что не повстречал никого. Он не был готов ни с кем и ничем делиться. Ни при каких обстоятельствах. Всё, что случилось там (он особо произнёс про себя это слово) — нечто очень личное. Матвеев неожиданно понял, что чем больше утаит, тем проще ему будет существовать.

Он достал из кармана свёрнутые трубочкой несколько десятирублевков и положил перед матерью, ничего не говоря. Мать макнула в чай ещё один кусок сахара и не посмела притронуться к деньгам.

4

— Был у нас парень один, всё писал домой о том, как ему прекрасно служится в Венгрии, — заговорил наконец сын. — В каждом письме подробно излагал, что происходит во взводе, роте, даже батальоне. Сочинял, конечно. Писал, что Венгрия — страна хорошая, хотя и поменьше эсэсера, и что местные играют с нашими в футбол.

— Что же, — не совсем поняла мать, — он к вам из Венгрии перевёлся, что ли?

— Он там и не был, — ответил Матвеев, потирая натёртое вещмешком плечо. — Ни одного дня. Просто не хотел огорчать родителей и признаваться, что попал в Афган. Вот и рассказывал небывлицы о том, как друзья его многого в жизни добиваются и скоро будут служить и в ГДР, и на Кубе. Мир поводят, одним словом. Он и сам питал надежду мир повидать. Смешной такой... А написав об этом, трясся со всеми на броне, растерянно хлопал глазами, особенно в первые месяцы. Автомат держал неуклюже, всё справиться с ним не мог. Смешно, знаешь, держал, будто никто его не учил, а он его только по особой надобности в руки взял. Ручкой и карандашом он орудовал куда лучше, чем оружием, это все знали. Мы его писакой прозвали, а он не обижался. А чего обижаться, почти у каждого прозвища были, порой обидные.

— А у тебя?

— У меня-то? — Матвеев пожал плечами. — В каждом письме он общал, что в Венгрии ему нравится, иной судьбы не желает. Даже с девчонкой местной, писал он, познакомился и намеревается серьёзные отношения наладить. Мы над этим всегда подтрунивали и всё спрашивали, как её зовут и как она выглядит. Он дулся на нас, а однажды сказал, что Марийкой её зовут. В письмах домой пару слов по-румынски приплёл. Сам он из посёлка под Лодейным Полем. Знал, что родители румынские слова от венгерских не отличат, а румынским научился от одного офицера, тот в институте язык учил.

Мать слушала историю удивлённо, сложив руки на коленях, выпрямившись, а затем, когда сын умолк, спросила:

— Как же он им правду раскрыл, когда вернулся? Смеху-то, наверное, было...

— А он не вернулся, — ответил Матвеев и громко забрал воздух ноздрями. — Странные у его предков, наверное, были лица, когда похоронку читали: ба, да он погиб при исполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан!

Матвеев внезапно разозлился, и глаза его забегали. Он стеснялся посмотреть на мать; ему не хотелось, чтобы она хоть что-нибудь прочла в его взгляде.

— Как он погиб-то? — спросила она.
— В госпитале. От брюшного тифа. Мы с тех пор болезнь эту венгеркой прозвали. Марийкой. У нас многие переболели.
— А ты?
— А я — нет. Я вообще везучий оказался. Только вот, видишь, шрам возле губы? Осколком посекло. Но это ерунда.

5

Покончив с чаем тремя большими, жадными глотками, Матвеев вымыл за собой чашку, смахнул со стола хлебные крошки, выглянул во двор, опершись ладонями на широкий подоконник, прикрытый листьями выцветшей “Литературной газеты”, любимой отцом, и наполовину заставленный пустыми банками, и, ничего интересного во дворе не увидев, сказал матери, что хочет прилечь и отдохнуть. Он и вправду страшно устал: последние дни были беспокойны. Когда летел в самолёте, всё думал, что тот вот-вот упадёт. По неизвестной причине. Его охватывал страх: не из-за того, что он, сержант Матвеев, погибнет, возвращаясь в Союз, а от того, что мать его так и не увидит. Самолёт полчаса сильно трясло, и он сидел, вжавшись в кресло и ничего не соображая.

Матвеев помнил, как внезапно свалился в ущелье вертолёт, подбитый выстрелом наудачу из гранатомёта. Вертушка летела слишком низко. Потом хлопок. Неестественно завращался винт, а через мгновение машина ухнула вниз. Тогда погибли трое. Матвеев знал, что самолёт будет падать дольше, а значит, у него будет немного времени, чтобы припомнить всю свою жизнь.

Но что ему было вспоминать? Детского сада он не помнил, лишь один длинный зимний вечер, когда всех детей разобрали, а он сидел один на один с воспитателем и ждал своих. Мать вбежала раскрасневшаяся от мороза, с красной сумкой, грустно болтавшей на руке. “Порезали в универсаме!” — пронзительно сообщила она воспитателю, показывая рану от пореза на красном кожаном боку. — Кошелёк, паспорт...”

Матвеев не понял, что произошло, но мать сразу же бросился жалеть. До дома шли, держась за руки. Хрустел снег, светились окна домов; на катке играли в хоккей; в гараже с распахнутыми створками горел свет и какие-то люди склонились над мотором автомобиля.

О школе воспоминаний было куда больше, но думать о ней в последнюю секунду не хотелось. Потом училище. Странное время: Матвеев пошёл туда из духа противоречия, желая поступить наперекор матери и, прежде всего, отцу. Мать хотела, чтобы он окончил десятилетку и поступил в институт. Как она. Как отец. Но в его дипломе, полученном в училище, значилось: электромеханик по лифтам. Он успел проработать около полугода. Когда пришла повестка, он даже обрадовался ей. Матвеев никогда не мечтал об армейской службе — но тут представился шанс покинуть на время дом.

С первого дня службы Матвеев показывал себя с лучшей стороны. В школе сержантов его хвалили. Он собой гордился. Мать им гордилась. Отец же написал: “Не тем ты занимаешься в жизни, Иван”. От письма крепко пахло одеколоном. Запах в пути не выветрился. Наверное, одеколоном пропах целый почтовый вагон. Ещё отец написал: “Когда вернёшься, не приближайся к лифтам. Не в них твоё призвание. Поступай в вуз. Если будет нужно — помогу”. Матвеев пожал плечами и порвал письмо.

В его невыносимой грёзе самолёт уже упал на землю, раздался взрыв, а память все еще доставала из своих глубин воспоминания. Вот уже и Алиса улыбалась ему, стоя против солнца. Ветерок слегка ерошил золотящиеся на свету волосы. Матвеев глядел на неё с любовью. “Вот вернёшься ты, — сказала Алиса своим чудным голосом, — признаешься мне в любви, и такая сладкая жизнь у нас начнётся...” Затем заиграл магнитофон, и Матвеев понял, что солнца давно нет, а сам он сидит в сумраке собственной комнаты. Магнитофон воспроизводил странные, тягучие звуки. Почти сразу сообразив, что не так, Матвеев переключил ручку на нужную скорость, с девятой на восемнадцатую. Музыка стала понятной и приятной.

— Нет, — ответил, наконец, Матвеев Алисе, — жизнь у нас не начнётся. Я умер. Понимаешь?

6

Он проснулся от сильного запаха лаванды. Падая на постель без сил, он не заметил, как сильно надушено постельное бельё. Любимый мамин аромат, знакомый с детства, далёкого-предалёкого.

Затем он различил шум барабаниющего по карнизу дождя, звук автомобильных шин, расплескивающих лужи на дороге.

В комнате, залитой приглушённым сумрачным светом, с его отъезда ничего не изменилось. Вот книжная полка с различной справочной литературой, собиравшейся Матвеевым с шестого или седьмого класса, с англо-русским словарём Мюллера в синей обложке, словарем технических терминов и затесавшейся сюда рыжей книжечкой очерков Вересаева. Её Матвеев получил на один из дней рождения от отца.

Под полкой — старый дубовый письменный стол с исцарапанной, изрезанной поверхностью. С правой его стороны отделение, за дверцей которого скрыты три глубоких ящика, заполненных старыми тетрадами, атласами, папками с газетными и журнальными вырезками и всякой всячиной, с которой непременно необходимо разобраться.

Матвеев распахнул скрипучую дверцу, запустил в один из ящичков руку, вытащил стопку контурных карт, выбрал нужную и раскрыл её. Граница Союза обведена красным. Бледным пунктиром за его пределами обозначена какая-то неподписанная страна. Если б знал он тогда, когда выделял карандашом территорию Союза, что эта безымянная территория и есть Афганистан, в который его забросит судьба.

Ещё в комнате находилась гитара с верёвкой вместо утраченного ремня. Матвееву так и не достало терпения выучиться игре на ней, он освоил лишь пару аккордов. В Афгане, когда играли его товарищи, он слушал песни внимательно и вечно завидовал тому, как они играют. И даже немного тому, как они поют, хотя был уверен, что спел бы не хуже, окажись в его руках верный, привычный инструмент.

Он услышал шаги матери, остановившиеся под дверью. Вчера, когда Матвеев бросился в изнеможении на постель, она тоже стояла на пороге перед закрытой дверью, прислушиваясь к тому, что он делает.

— Какое сегодня число? — спросил он, словно позабыв.

Мать, ждавшая, что он заговорит с нею, вошла в комнату, осмотрелась и присела на краешек постели.

— Двенадцатое.

— Завтра тоже будет дождь?

— Не обещали. И этот скоро перестанет.

Но дождь продолжал идти, то переходя в ливень, то ненадолго иссякая. В прогалинах низкого серого неба начинал брезжить солнечный свет, но тучи быстро затягивались, и дождь припускал с новой силой.

— Как ты жила здесь одна? — спросил Матвеев, проводя пальцем по корешкам книг на полках, чтобы убедиться, что мать в его отсутствие заходила в его комнату и прибиралась. Ни пылинки на книгах и полке, на столе и плафоне лампы.

Мать, едва скрывая улыбку, отметила про себя, что сын доволен её отношением к чистоте и порядку в комнате.

— А вот здесь стоял торшер, — обнаружил пропажу Матвеев, и она поспешила объяснить, что её собственный вышел из строя, но она готова вернуть взятый на замену из его комнаты.

Матвеев покачал головой, и тогда она сказала:

— Как жила я здесь, ты знаешь из писем. Я, правда, не всё тебе отсылала. А не отсланные, если хочешь, я тебе отдам. Они в моём секретере. Вот ключик...

Она полезла в карман, но он жестом дал понять, что в этом нет необходимости.

— Знаешь, я почти никогда не плакала, хоть и думала о тебе постоянно.

Матвеев не поверил, но виду не подал.

— Утешала себя мыслью, что ничего плохого с тобой случиться не может. Сама не знаю, почему в это верила. Смотрела одну программу, в ней рассказывали, как вы помогаете афганскому народу налаживать жизнь, как строите с ними социализм. Там такие счастливые лица показывали. Детские и лица взрослых. У них там хорошая природа. Я видела красивый сад... Дурра, что во всё это поверила, да? — спросила она сына, заметив его пронзительный взгляд исподлобья.

Матвеев снова промолчал.

— Меня многие спрашивали о тебе: как, мол, и что? А что я могла сказать? Вот словами из этой передачи порой и отвечала. Алиса однажды зашла...

Матвеев отвёл взгляд в сторону.

— Прошлой зимой я так сильно разболелась, что две недели не вставала. Грипп такой жуткий был. И когда встала после него и подошла к зеркалу, обомлела: неужели я такая старая? А тебя всё время представляла таким, как сейчас. Возмужавшим, серьёзным. Но ты не сердись. Я ведь мало плакала, знала, что вернёшься.

По лицу матери покатились крупные слёзы. Как те струи дождя, что расчертили оконное стекло сверху до самого низа. Материнские слёзы глухо капали на линолеум: бам, бам, бам.

— Мало плакала, Ванечка, совсем чуть-чуть.

7

Обещанный транспорт до города так и не появился. В здании небольшого военного аэропорта было прохладно. Дембеля, предвкушая скорую встречу с родными, бодро переговаривались. Матвеев отсел от них и наблюдал, как на взлётную полосу вырывается флегматичный Ан-12, как крутятся четыре его винта, как начинает он свой бег, как безо всякого желания отрывается он от земли и, грузный, словно гигантский шмель, медленно набирает высоту.

— Ну, всё, — подытожил Матвеев, когда самолёт скрылся из вида, — я к шоссе. Кто со мной?

Другие остались ждать, а он двинулся в путь. Идти пришлось лесом около получаса. Он наслаждался и погодой, и видом высоких, как на подбор, достающих до неба сосен и особенно их запахом. Сосновый запах — вот о чём он скучал в стране, где деревья встречались редко да и то не такие, как дома.

Оказавшись на шоссе, он быстро поймал попутку и сел рядом с водителем на переднее сиденье. От того пахло луком и яйцами, недавним скромным завтраком. Водитель был немолод. Поначалу он глядел на Матвеева с недоверием и, быть может, жалел, что подобрал чужака на обочине. Но Матвеев сидел тихо, следя за дорогой, и не делал ничего, что могло бы не понравиться водителю.

— Странно, правда? — заговорил, наконец, тот. — Пятница, а я еду в город. Сегодня все поедут в обратную сторону.

— Почему? — не понял Матвеев.

— Дачи же, — с обидой в голосе ответил мужчина. — Сезон начался. Но я обратно. У меня отпуск. За женой еду. На заводе работает. МЭЛ. Знаешь?

— Знаю, — ответил Матвеев. — Практику на нём проходил.

— Москвич, значит? — водитель заметно потеплел. — Чувствовал, что москвич, когда тормозил. Откуда возвращаешься? — спросил он, словно не замечая формы, в которую был одет пассажир.

— Дембель. К матери, домой.

— Вот ей счастье-то... Меня Василием Петровичем зовут. Где служил?

— Там, — махнул рукой Матвеев в неопределённом направлении.

Водитель вытащил из кармана пачку папирос, предложил новому знакомцу, но тот отказался, показав, что у него свои. Василий Петрович прикурил, наполовину открыл окно со своей стороны и выпустил струю табачного дыма.

— Я слышал, в Афганистане нам крепко достаётся, — сказал мужчина через минуту, глядя на Матвеева через зеркало заднего вида. — Да чего удивляешься, я сразу всё понял. У меня племянник сейчас в Баграме. Давно не писал, правда. Был там?

Матвеев кивнул.

— Может, Пашку Трусова знаешь? Павла Сергеевича?

— К сожалению...

— Запрещают вам, что ли, часто писать? — с досадой спросил водитель. — Отчего так мало писем приходит?

— Запрещать не запрещают, да только не всегда писать хочется. А иногда и возможности нет.

Безрукий Савчук каждый день хотел писать домой, но не мог. Иногда уговаривал медсестёр записать за ним. Некоторые злились, потому что трудно было разобрать, что он шепчет сквозь обожжённые губы.

Весточки домой Савчук слал весёлые, приветливые, ни словом не обмолвившись о своей беде. Говорил, что мать не переживёт. Надиктовав письмо, часами мог лежать, глядя в потолок и ни на что не обращая внимания. Так и умер, с открытыми голубыми глазами. Едва он сделал последний вздох, как они выкатились и застыли, помутив раз и навсегда.

— Сестра моя изводится, что долго писем от Пашки нет. Месяц уже не было. Может так быть, что с ним всё нормально, несмотря на отсутствие писем?

— Может, — без уверенности ответил Матвеев.

Водитель покачал головой и выбросил окурок на дорогу.

— Я тебя у автовокзала высажу, ладно? Мне в другую сторону. Дошагаешь?

— Дошагаю.

8

В среду с утра квартира наполнилась запахом компота из сухофруктов. Сколько Матвеев себя помнил, мать всегда его варила. Компот получался у неё сладким, даже приторным, и он пил его без особого удовольствия. Запах напомнил странное лето, когда никого из друзей не осталось в городе, а его поездка в пионерский лагерь отчего-то отменилась. Тогда отец ещё жил с ними, но с работы постоянно возвращался поздно, вымотанный, неразговорчивый и злой. Мать в то лето варила компот необычайно часто и пила его больше всех, словно в жизни ей больше всего не доставало сладости.

Был июль, случались грозы. Матвеев играл с оловянными солдатиками на полу своей комнаты. Когда погода прояснялась, он неохотно спускался во двор и угрюмо слонялся по нему, не находя подходящего занятия. От опустошавшего одиночества он специально выбирал самые скрипучие качели и катался на них до головокружения и тошноты, ненавидя металлический противный скрип. Из окон обязательно кто-нибудь выглядывал, чтобы сделать ему замечание. Когда шёл дождь, Матвеев смотрел на тополь, росший напротив окна, на то, как бьют по листьям капли, как темнеет, намокая, кора, как набирается внизу, у корней, лужа.

В один из таких дождливых дней он заметил человека, идущего под зонтом и отчего-то наступающего в каждую лужу. Человек громко чертыхался каждый раз, когда его ноги оказывались в воде, а потом даже отшвырнул в сторону свой зонт, и тогда Матвеев узнал в ругавшемся прохожем отца. Спустя пару минут тот бранился в прихожей и, кажется, не мог совладать с зонтом, который не желал складываться. Накричав на мать, отец бухнулся в кресло в большой комнате. Мать тихо заметила, что с его ботинок настила на мытый пол вода, но отец не удостоил её ответом.

Он ушёл из семьи десять лет назад. Каждый раз, открывая шкафчик в ванной комнате, Матвеев явственно ощущал запах его одеколona, хотя тот давно выветрился. Вот и сейчас он почувал его.

Когда отец только ушёл, Матвеев без конца проклинал его. Ему было так одиноко, что даже мать не могла развеять нахлынувшую тоску. Он звонил

по новому номеру, который запомнил с первого раза, но отец, если и брал трубку, был сдержан и не особо приветлив, так что сыну стало казаться, что он отцу, наверное, не нужен. Через какое-то время он уверился, что всё так и обстоит на самом деле, и звонить перестал. Порой, когда в тишине квартиры раздавался звонок, сердце его обмирало: ему мечталось, что это папа. Но это был кто-то из маминых друзей или его собственных друзей.

Когда отец не поздравил его с окончанием восьмилетки, Матвеев всё понял. Ему не стало горько. Ему сделалось противно.

Отец проявил себя только тогда, когда Матвеев ушёл в армию. Он написал письмо, затем другое. И Матвеев ответил. Завязался диалог. Матвеев поймал себя на мысли, что, несмотря ни на что, он рад этому разговору. Он надеялся, что если вернётся, обязательно с отцом встретится.

Сейчас, когда запах одеколона померещился ему в очередной раз, он решил окончательно: встретиться необходимо.

9

В будний день на Сиреневом бульваре почти никого. Старуха кормит голубей, а молодая мать дремлет на лавочке, пока двое её детей играют в салки. Мальчик падает на дорожку, а девочка, звонко ударяя его растопыренной пятернёй по спине, отбегает и смеётся. Мать на мгновение разлепляет глаза, просит мальчика подняться и снова погружается в дрему.

На другой стороне за зелёной листвой виднеется вывеска булочной. Сюда Матвеев, если оставался в городе, бегал каждое летнее утро за хлебом. Помещение булочной было огромным; посередине стоял убогий прилавок с весами; за спиной продавщицы в белом халате высились, словно осадные башни древних римлян с картинок в учебнике, полки со свежим, пьяняще пахнущим белым и чёрным хлебом. Когда эти башни с полками чуть не до потолка двигали, колёса под их днищами сердито скрипели, и чудилось, будто сейчас всё это хлебное изобилие скроется в подсобном помещении. Матвеев не понимал, отчего ему приходила такая мысль, и даже принимался суетливо подталкивать впереди стоящего, чтобы хотя бы немного приблизить свой черёд. Потом он бросал в блюдце заранее приготовленные восемнадцать копеек, получал взамен “подмосковный” батон, тут же отламывая горбушку и бежал в сторону дома, на ходу торопливо пережёвывая мягкий хлеб. В коридоре его встречала мать и, стряхивая с его груди мелкие крошки, журила, что он не дотерпел до завтрака. Потом она мазала хлеб маслом, и он уплетал бутерброды, запивая их сладким чаем, и чувствовал себя особенно счастливым.

Проезжая часть вдоль Сиреневого бульвара манила Матвеева каждой весной: нетерпеливые потоки талой воды неслись вдоль бордюрного камня, а он спускал на воду всё новые и новые корабли. Многие из них гибли в водоворотах дождевых сливов, иные совершали долгое кругосветное плавание от дальнего перекрёстка возле булочной до самого кинотеатра “Енисей”. Длинной жердью Матвеев подгонял корабли, построенные из спичечных коробков и пачек из-под лекарств с непонятными названиями, добытых у бабушки. Он храбро мчался навстречу водоворотам и айсбергам, не страшился морских брызг, летевших из-под колёс пронесившихся мимо автомобилей, и с радостью настоящего моряка вёл свои судёнышки навстречу приключениям и неизвестности.

Однажды, когда Матвеев смело брёл по проезжей части, не обращая внимания на движение, кто-то больно ухватил его за ухо и потащил на тротуар. От боли и испуга Матвеев зажмурился, а когда, наконец, осмелился открыть глаза, увидел перед собой грозного отца. Он думал, что за ухо его сцапал какой-нибудь милиционер, но всё оказалось куда хуже. Отец отругал его и, схватив за шиворот пальто, потащил домой и запретил выходить на улицу в ближайшие несколько дней. Наказание было суровым, но Матвеев, несмотря на обиду, понимал, что отец, в общем-то, прав: нечего маленькому мальчику разгуливать по дороге, подвергая себя опасности. С тех пор Матвеев не сходил с тротуара и командовал кораблями исключительно с него.

Матвеев дошёл до очередного перекрёстка. По правую руку он заметил знакомое крыльцо, на ступенях которого любил сидеть с книгой в руках. Это было крыльцо детской библиотеки, места, которое Матвеев когда-то посещал постоянно. В библиотеке с ранних лет он был на хорошем счету, а потому ему позволялось чуть больше, чем другим. Ему не раз давали с собой книги, которые другие могли изучать только в читальном зале. Его длительные прогулки среди книжных стеллажей никогда не вызывали ни у кого вопросов. Трудно представить, сколько книг было им прочитано и сколько ещё он снял с полок, чтобы просто посмотреть аннотацию. Он мог выбрать книги часами, и занятие это захватывало его, как мало что другое.

Он поднялся по ступеням и замер у входной двери, чтобы прочитать график работы. Потоптался на пороге в нерешительности и вошёл. От двери в коридор налево, а затем направо — он прошёл бы этот путь с закрытыми глазами. Гардероб в июне уже не работает, но чей-то плащ висит у самой стены в углу. Обыкновенный серый плащ. А на соседнем крючке — зонт.

Абонементный зал поделён на свет и тьму. Солнечные лучи проливаются через два больших зарешеченных окна. Там, куда они не достают, сумрачно.

За стойкой сидит какая-то фигура. Её руки покоятся на столе и освещены солнцем, а тело и голова пребывают в полутьме. Матвеев приглядывается. Определённо лицо молчащей и внимательно глядящей на него девушки ему знакомо.

10

С утра Матвеев ходил устраиваться на прежнее место, и его приняли. В следующий понедельник он вновь займётся лифтами, несмотря на протесты матери, требующей, чтобы он поступал в институт. Он не смог объяснить ей, почему не хочет. Безропотно выслушивая её раздосадованный монолог, сопровождаемый тяжёлыми вздохами, он представлял себе людей, идущих учиться в институт. Они только со школьной скамьи: раскрепощённые, свободные, не задумывающиеся о жизни всерьёз, легко шагающие по ней. Иное дело он сам. Недавно поднимаясь по лестнице, он чётко слышал свою поступь — так ходят старики. Он не понимал, отчего ноги так тяжелы. А затем Матвеев посмотрел в зеркало: он ничуть не похож на вчерашнего школьника. Даже на позавчерашнего. И совсем не абитуриент. И хотя мать успокаивала, говоря, что он мало изменился за последние два года, он ей не доверял. Напряжённый лоб, какие-то впалые щёки, незнакомый взгляд. Он сравнивал собственное отражение с лицом на фотокарточке, присланной матери из учебки: общего мало — это следовало признать сразу. Возвращаясь домой, Матвеев размышлял о том, сильно ли он переменялся, и ему казалось, что изменений не так уж много, и если они и есть, то незначительные, и вскоре всё вернётся на круги своя. Но проходили дни и недели, а шаг его становился всё тяжелее, хотя грудь дышала легко, можно сказать, по-юношески.

Приходила мамина сестра. Втроём они сидели на кухне, ели щи и выпили по рюмке водки. Начались женские разговоры, и Матвеев ушёл к себе, но дверь оставил открытой, и до него доносились обрывки фраз. Голос матери зазвучал неожиданно высоко и громко:

— Он не смог бы этого сделать!

Кто он? Чего не смог бы?

Матвеев замер. По тому, как тревожно зазвенели под ним пружины в матрасе, он понял, как напряжено его тело. Он уловил неровный бой сердца. На кухне говорили о нём, это очевидно.

— Что же это за война такая, где не убивают? — с издёвкой, уже захмелев, вопрошала тетя.

В одном из писем Матвеев написал: “Передай тёте Шуре, что я соскучился по её пирогам с такой силой, что если превратить её в энергию, ближайшим домам хватит лет на десять”.

Пирогов, по которым он истосковался, тётя Шура не принесла, но при себе у неё имелась невероятная убеждённость, зазвучавшая неприятно для его слуха.

— Не мог он, Сашка, не мог, — повторила мать.

Их диалог продолжился на повышенных тонах, и Матвеев поспешил закрыть дверь и уткнуться лицом в подушку. Он нащупал ручку радиоприёмника. Зазвучал концерт классической музыки.

Выйдя из комнаты час спустя, он обнаружил, что тётя Шура ушла. Мать говорила по телефону.

— ...ты что, он никого не посмел бы убить. Я помню, какой он был миролюбивый в детстве — ни одной зверушки не обидел, кошек вечно защищал от других ребят... Что же с ним сделали?.. То есть как откуда я знаю, что с ним что-то сделали? Да ты... Да ты только погляди в его глаза... Ещё бы я не была уверена! Я его растила честным. Справедливым. Любящим! Не для того я его родила, чтобы он...

— Мама, — сказал Матвеев, осторожно забирая трубку из её рук и кладя на рычаги, — я никого не убивал.

Мать смотрела на него сквозь туман слёз, и он чувствовал, что она ему не верит.

II

— Вам что-нибудь нужно? — мягкий женский голос из полутьмы.

— Светлана...

— Светлана Геннадьевна, — уточнил голос, а вслед за этим исчезли со стола, из солнечного пятна, руки.

— Вы меня вряд ли помните. Я Ваня Матвеев...

— Что вы, — ответила библиотекарь, выходя из-за стола, — вы днями просиживали в читальном зале и что-то выписывали из Большой Советской...

— Точно, это был я. Я вёл свою картотеку...

Странное дело: когда-то Светлана Геннадьевна казалась ему взрослой, серьёзной женщиной, теперь же он видел перед собой симпатичную девушку лет двадцати восьми в некрасивых, не идущих ей очках. По всем законам, она должна была быть намного старше, но этого не случилось, и повзрослел только он сам.

— Вы тогда... — Он запнулся. — Пришли сразу после учёбы?

Матвеев спросил то, о чём спрашивать не собирался. Слова вырвались сами, и было поздно их возвращать.

— Я начала работать здесь, ещё не кончив техникума, — ответила она. — Мне было семнадцать.

— Вы совсем не изменились. Всё такая же...

— Перестаньте, — смутилась девушка, — я изменилась. Вот эти очки, например, — их прежде не было. Я люблю читать. Много. В самые неподходящие моменты, в неподходящей обстановке. Читаю даже в метро. По телевидению была программа, в которой сказали, что это очень вредно, но я ничего не могу с собой поделать. Иначе я умираю со скуки.

— Я тоже любил читать, — тихо произнёс Матвеев и взял с её стола одну из книг. — Эту точно читал, помню обложку. Не помню только, о чём... — Он пролистал несколько страниц. — Печальная история двух молодых людей, счастье которых...

— ...невозможно, — договорила за него библиотекарь.

— Он был на войне, она ждала его почти пять лет. Он вернулся и не знал, что ей сказать. Так и стояли на пороге, не смея шелохнуться.

— За них говорила тревожная осенняя листва... Хороший писатель, но повесть читать невыносимо. Я плачу почти над каждой страницей. Как вы думаете, не жестоки ли авторы, заставляющие своих читателей плакать?

— Мне кажется, что перед тем, как отдать в печать свои рассказы и повести, они сами горько плачут.

— Я бы непременно жалела всех своих героев и не позволяла им умереть.

— Но кто бы стал читать про счастливые судьбы? — спросил Матвеев, кладя книгу на место. — Это пресно и скучно.

— А я люблю истории про людей, у которых всё хорошо.

— Назовите хоть одну.

Библиотекарша провела пальцем по щеке, поправила очки на носу и ничего не ответила.

— Хорошо, что мы с вами не знаем, что такое война, — выговорила, наконец, она. — Так почему вы заглянули к нам? Вам давно пора прописаться во взрослой библиотеке, — весело прибавила она.

— Мне захотелось побывать в знакомом месте. А здесь всё такое родное... И, честно говоря, мне нравится запах старых книг.

— И мне. Очень-очень. Поэтому и не ухожу отсюда.

— А были мысли?

— Разумеется!

— Хорошо, что вы здесь, Светлана Геннадьевна. Приятно встретить кого-то, кого знаешь.

— Света.

— Света... — Повторил он, протягивая ей руку. — Ваня.

— У вас очень тревожное лицо, Ваня...

12

У лейтенанта Антоновича была обожжена правая сторона лица. Первое время Матвеев не мог смотреть на него без содрогания. Наверное, он был не один такой и, наверное, лейтенант это замечал. Говорят, его вытащили из самого пекла, а он вырывался, отбрыкивался и стремился вернуться в бой, преодолевая боль. В том бою погибли двое его друзей — оба подорвали себя, чтобы не попасть в плен.

Из госпиталя Антонович сразу вернулся в свой военный городок. От отпуска отказался, в Союз не поехал. Едва только полковник, навестивший его в госпитале, заговорил об отпуске, лейтенант рассвирепел и твёрдо ответил: “Нет, домой я не поеду. Незачем им смотреть на меня такого”.

Он был очень смелый, этот лейтенант. Так говорили. Первый боевой выезд, в котором побывал Матвеев, проходил под его командованием.

— По машинам! — скомандовал Антонович, и солдаты бросились рассаживаться на броне.

Новички же, а вместе с ними Матвеев, полезли в тесные и жаркие десантные отделения бэтэров. Пока Матвеев влезал внутрь, он заметил, как какой-то солдат, уже сидевший на броне, неприятно лыбится, глядя на него. Матвеев оглянулся на Антоновича, но тот, хитро прищурившись, молчал.

Это был первый и последний раз, когда Матвеев ехал в десанте. На первом же привале он подошёл к Антоновичу и спросил, почему большинство едет на броне. Лейтенант пояснил, что если бэтэр наезжает на мину, то днище от взрыва подлетает кверху.

— И всё, — попыток он, хлопая ладонью о ладонь. — Все, кто внутри — лепёшка, потоньше коровьей. Однажды приходилось вытаскивать тела из подорвавшейся машины. Больше не хочется.

Антонович курил без перерыва. Он мог не есть целыми днями, но обязательно выкуривал по две-три пачки “Смерти на болоте”*. Ещё он строчил письма жене, обращаясь к ней так, словно влюбился совсем недавно и ничего, кроме любви этой, в его жизни нет. Она отвечала ему так же нежно. А однажды он специально сфотографировался и послал ей карточку, чтобы она увидела его изуродованное огнём лицо. Ответа не было больше двух месяцев, а когда он, наконец, пришел, лейтенант не обрадовался. Пока ждал его, потихоньку сходил с ума, по вечерам пил, ожесточался против всех, а порой становился беспричинно весел, и никто не знал, чего ждать от него в следующее мгновение.

* Сигареты без фильтра “Охотничьи”. Название “Смерть на болоте” возникло из-за рисунка на пачке.

В ответном письме жена просила развода.

— Я так и думал! — смеясь, говорил Антонович каждому, кто проходил мимо. Он тряс над головой конвертом и цитировал жену: — “Ты уж не сердись...” Вот как она, значит, мне пишет. Чтоб не сердился. А я и не буду. У меня есть дочь, Люсенька, она от меня ни за что не отвернётся. Правда, Люсия? — Он доставал из кармана порванную надвое фотокарточку, на сохранившейся части которой белело лицо маленькой девочки.

Ночью того дня, когда лейтенант получил письмо, Матвеев слышал сквозь сон близкий выстрел. Он на секунду открыл глаза, убедился, что кругом спокойно, и снова уснул.

Утром он узнал, что Антонович застрелился.

Лейтенант не оставил посмертной записки. Рядом с его телом нашли выпитую наполовину бутылку водки, боевые награды и обрывок той самой карточки с девочкой по имени Люся, которая не дождалась отца в Гомеле.

13

В середине июня Матвеев получил весточку от рядового Черкеса, хорошего, доброго парня с печальными глазами большого безобидного пса, носившего на шее крестик и не умевшего объяснить, для чего ему этот предмет. Над Черкесом, конечно, многие посмеивались, но без злобы, и говорили, что не крест спасёт, а чуйка, то есть чутьё, но боец никого не слушал и креста не снимал. Иногда Матвеев замечал, как солдат сжимает его в ладони и молчит, уставившись на небо. Может быть, он молился, но Матвееву не было до этого особого дела, он только удивлялся, что в бою Черкесу несказанно везёт: не раз тот оказывался в ситуациях, из которых почти невозможно было выбраться живым или хотя бы не покалеченным, а на Черкесе не осталось ни царапины.

После зачистки одного далёкого кишлака, где, как полагали, находилось крупное осиное гнездо моджахедов, он обнаружил Черкеса сидящим у изрепечённого пулями и осколками мин дувала*. У его ног лежали в безобразных позах тела двух солдат. Одного убило выстрелом между глаз, у второго виднелось пулевое ранение прямо под сердцем. Черкес отрешённо глядел вдаль, куда-то поверх крыш, и не выпускал из рук крестика.

— Крещёный, что ль? — спросил Матвеев. — Говорят, бережёного Бог бережёт. Я смотрю, это как раз про тебя.

Черкес придвинул к себе автомат и смолчал.

— Положил кого-нибудь? — поинтересовался Матвеев, осматриваясь. — Эх, — махнул он рукой, понимая, что рядовой не ответит, — нужно грузить ребят на броню. Вот и дембель к ним пришёл...

К смерти Матвеев всегда относился неоднозначно. В детстве, когда умер дедушка, он не почувствовал ничего особенного, только странная тоска поселилась в нём, едва он переступил порог знакомой комнаты и взглянул на дедушкины вещи, никому теперь как будто не принадлежащие. Громко качался маятник в старинных часах, и сверкала на солнце чернильница, которой дед, не признававший шариковых ручек, пользовался до последнего дня.

Потом Матвеев видел мёртвую женщину у подножия эскалатора в метро. Ему подумалось, что глупо умереть вот так — по пути на работу или, быть может, в Парк культуры и отдыха.

Смерть перестала представляться Матвееву чем-то эфемерным и лично его не касающимся после первого же боя, когда ему пришлось тащить труп убитого старшины к бронетранспортёру. Тело, казалось, после смерти стало весить раза в три больше. Едва он положил его возле задних колёс бронемашины, как слёзы посыпались из глаз. Он ясно представил, как его самого несут вот так: чертыхаясь вполголоса, на спине, потом сбрасывают, как осточертевшую ношу, закуривают и не глядят в его безжизненное лицо.

* Дувал — глинобитный забор или стена в Средней Азии, отделяющая внутренний двор жилища от улицы.

С каждой новой смертью, вне зависимости от того, знал Матвеев погибшего или нет, он чувствовал, что из него, из его души, если только она существует, что-то испаряется. Он решил, что ещё немного, и души в нём не останутся вовсе — тогда он сам зачерствеет, сердце обратится в камень, лица убитых перестанут вспоминаться во снах и наяву, и он прекратит жалеть каждого. Но этого с Матвеевым не произошло, и очередной факт смерти вызывал в нем протест: он не находил себе места от гнева, чувства несправедливости и внезапно нахлынувшего одиночества. В мире, считал Матвеев, человек одинок и всегда стоит лицом к лицу со смертью. И важно в страхе перед ней не закрыть глаза, чтобы она не добралась до тебя своими холодными, зловредными руками.

— Ничего, поживём ещё, — сказал Матвеев Черкесу. — Вставай, нечего тут расслаживаться.

— Я теперь, товарищ замкомвзвода, в рай, видно, не попаду, — проговорил рядовой. — Как считаете?

— Я в таких делах не знаток, — признался Матвеев. — А что?

— Я ребёнка убил. Случайно.

Матвеев посмотрел на рядового с подозрением: мол, какого ребёнка? Черкес указал рукой на дом.

Сначала, стоя в дверном проёме, Матвеев внутри маленькой комнаты ничего не увидел. Яркий свет лился сквозь дыру в стене и лежал сверкающим пятном на полу. Всё вокруг этого пятна, над которым причудливо завивалась пыль, было темно и непроглядно. Но вскоре, присмотревшись к этой тени, Матвеев различил в углу два тела: мужчину, не выпустившего винтовки из рук, и мальчика лет десяти.

— Я не знал, что он здесь, — прошептал Черкес. — Честное слово, товарищ сержант!

— Уже всё, рядовой, надо идти, а то без нас уедут. Не думай о случившемся. Идём. Забираем наших и идём.

Но Матвеев сам не знал, как это — совсем не думать об этом. По пути назад он только и размышлял об убитом мальчике, и потом ещё весь вечер и душную бессонную ночь ясно себе его представлял. Не желая оставаться наедине со своими мыслями, он поднялся с койки и подошёл к Черкесу. Тот бодрствовал, ковыряя поверхность стола кончиком ножа.

— Не спишь? Мне тоже. Ты знаешь что... Это трудно, но нужно пережить. Передумать, переварить, пересилить. Если ты не простишь самого себя, ты сгоришь. Ясно?

— А вы, товарищ сержант, убивали детей?

Матвеев покачал головой.

— Как мне это пережить? Этому парнишке не больше, чем моему младшему брату. Такое не переживёшь. Да я...

— Не вздумай поступить глупо, — строго предупредил Матвеев. — Давай-ка ложись спать, ясно? Утро вечера мудренее.

— Чего нет ясного... — ответил Черкес. — Завтра тоже рейд?

— Банно-стаканный день*. Сутки, чтобы избавиться от дурных мыслей.

— У меня нехорошее предчувствие, что домой не вернусь. Боюсь гукнуться.

— Вернёшься, не гукнешься. На тебе крест. У нас даже те, кто без креста, домой возвращаются. Я сам без креста. Меня, знаешь, что оберегает?

— Что? — удивился солдат.

— То же, что и всех. То, что мы с собой носим: аптечка с бинтами, вата и промедол. Такова наша религия, ясно?

— Так точно, товарищ сержант! — немного взбодрившись, согласился рядовой.

Черкес, как и обещал Матвеев, домой вернулся. Случилось это в октябре восемьдесят второго. В письме он сообщал, что живёт неплохо, работает по гражданской специальности и собирается жениться.

* То есть выходной.

Пока он покупал ей эскимо, она рассматривала его профиль. Он казался ей старше, чем был на самом деле; ей даже не верилось, что ему двадцать один. Света думала, что, когда они идут рядом, она выглядит моложе него. Матвееву же порой становилось неловко от того, что Света, как он полагал, выглядит значительно старше, а потому люди посматривают в их сторону как будто бы с непониманием. Впрочем, когда она взяла в руки мороженое и сняла упаковку так, чтобы на ней не осталась шоколадная глазурь, Матвеев увидел в Свете вчерашнюю выпускницу библиотечного техникума, такую, которая ещё не нашла себе места в жизни и сейчас беззаботно шагает рядом с ним по улице. Он нечаянно коснулся её руки и тут же отдернул свою, немало смутившись. Света не заметила этого. Вчера они перешли на “ты” и шли под руку, но сегодня она отчего-то избегала этого, и Матвеев начал нервничать, что, возможно, уже успел сделать или сказать что-нибудь не так.

Близость её руки, мимолётное к ней прикосновение напомнили ему тепло другого человека — Алисы. Он до сих пор не понимал, как же она к нему относилась. Когда она только появилась в его жизни, он повсюду ходил за нею, старался выхватить портфель из её рук, чтобы помочь нести. В те дни он болтал без умолку, что ему совершенно не шло, пытался быть интересным, и она порой отвечала согласием на вопрос, можно ли позвонить ей вечером. И он звонил, и снова говорил обо всём подряд, и жалел, что она немногословна.

Он влюбился в неё как-то внезапно, разом: почувствовал, что внутри, под самыми рёбрами с двух сторон что-то заклокотало, разлилось, как морской прибой, и что-то понесло его по улицам. Не помня себя от счастья, он очутился в чужом районе, среди прежде не виденных домов, и растерялся, и стал искать дорогу обратно. И долго потом шёл вдоль шоссе, шепча Алисино имя.

Она была милой девочкой с непредсказуемыми реакциями, и, быть может, в особенности это привлекало Матвеева. Один день она могла проходить в дурном настроении, не подпуская его к себе, а на следующий радостно наслаждалась его обществом. Однажды, когда он проводил её домой, она попросила подождать пару минут. Вернувшись через целую вечность, она вынесла ему свою фотографию. “Бери, — настояла она, — думай обо мне каждое мгновение”. И прижалась горячими губами к его щеке. Так они простояли следующую вечность, пока сверху не раздался голос её отца: “Алиса, это ты там? Что ты там делаешь?” И она, ни слова не говоря, скрылась в подъезде.

Алиса предположить не могла, как много будет значить для Матвеева подаренная ею фотокарточка. Но не сейчас, как она мечтала, а потом, когда он будет лежать на койке в палатке-казарме или трястись на броне БТР-70. Он берёт этот снимок, храня как нечто очень ценное. И если бы случилось так, что снимок потерялся, он бы, пожалуй, восстановил его, точь-в-точь нарисовав по памяти. Если бы, конечно, выучился рисовать.

На фотографии Алиса была запечатлена в своей комнате, сидящей спиной к письменному столу, на котором аккуратными стопками выселись учебники и тетради. Алиса была одета в вязаный свитер и синюю юбку. Позади неё виднелась “Ригонда”. Она вечно хвасталась этой радиолой, повторяя, что лучше неё ничего в Союзе не делают. Ещё за её спиной висел портрет какого-то певца. Алиса называла его имя, но Матвеев его забыл.

Ему нравились её тонкие светлые брови, аккуратный, немного коротковатый, как ему казалось, нос, заметно выделявшиеся скулы и бледные губы. Когда она прикладывала к ним палец, он сходил с ума.

Когда он разглядывал её фотографию, и делать это он мог бесконечно, ему всегда недоставало звучания её голоса: без него портрет был неполон. Однажды он видел сон, в котором он, отчего-то знаменитый учёный, изобретает новый вид фотографии — передающий звучание голоса.

Он не чувствовал, как Света теребит рукав его рубашки. Она позвала его несколько раз.

— Что с тобой?

Он смотрел и не понимал, отчего её черты так не схожи с чертами на фотографии, отчего голос совсем другой.

— Ты странный, Ваня, — сказала Света, обиженно отступая от него. — Очень.

Был вечер, пахло скошенной травой.

15

Странная штука — память, рассуждал Матвеев. Отчего-то она не показывала ему то, что ему хотелось увидеть, а всё подсовывала картинки, которые он мечтал навсегда забыть. В моменты, когда он оставался наедине с собой, его посещали самые мрачные мысли, и сколько он ни старался развеять их, думая о хорошем, победить их ему не удавалось.

Едва начинало брезжить какое-нибудь приятное воспоминание, скажем, из детства, как возникала другая картина — и всё оттуда, с войны. Она не давала покоя рассудку и затуманивала его; он не мог ни на чём ином сосредоточиться: смотрел на летнее прозрачное небо, а видел сторевшие грузовики в кюветах; по радио звучала песня, а ему чудилось, что взлетает сигнальная ракета или передёргивается затвор АКС; он говорил по телефону, а в памяти всплывал какой-нибудь ночной разговор в казарме, или стон беспокойно спящего солдата, или гром танкового выстрела.

Третью ночь кряду снился ему один и тот же сон: что он находится на борту вертолётки и, крепко вцепившись в пулемёт, пытается поразить наземные цели. Он видит только свои руки, прицел, тень вертолётки на скалах и маленькие фигурки противника. Раздаётся взрыв, мощная волна отрывает Матвеева от пулемёта, и он летит, что-то крича, вниз.

Он просыпался в холодном поту и обречённо смотрел в потолок, думая, что уже мёртв. Затем остатки сновидения рассеивались, и он, придя в себя, понимал, что всё было лишь очередным кошмаром.

День ото дня он беспокоился всё сильнее оттого, что сон не приносил отдохновения, оттого, что самые невесёлые размышления мучили его. Ему представлялось стыдным рассказать обо всём матери или ещё кому-нибудь. Он боялся, что его сочтут умалишённым и предпримут в связи с этим что-нибудь, что ему совсем не понравится. Матвеев был уверен в одном: он не болен, но в нём столько боли, что, наверно, потребуется очень много времени, чтобы её избыть. Но как избыть её в одиночестве, оставаясь с ней наедине? Ответа он пока не находил.

Странная штука — память, говорил себе Матвеев. Из-за неё жизнь — не жизнь.

16

— За то, что ты вернулся, — произнёс отец и, как шашку, по диагонали двинул стопку с водкой от себя к правой руке сына.

Матвеев кивнул и, когда обе стопки глухо стукнулись, морщась, выпил. Отец поспешил наполнить опустевшую тару до краев, но сын накрыл свою ладонью:

— Больше не буду.

Отец тоже не стал пить.

Пока Матвеев сорок минут добирался на электричке, он о многом успел подумать и даже решил, о чём расскажет отцу, а о чём умолчит. Расположившись же на веранде старой дачи, он перехотел говорить о том, о чём собирался, и, преувеличенно раздувая ноздри, вдыхал свежий утренний воздух, полный соснового аромата.

На этой даче, где каждый уголок был знаком, Матвеев полностью провёл одно лето то под присмотром отца, то под опекой бабушки. С отцом, взявшим месячный отпуск, он жил душа в душу: на рассвете они ходили на рыбалку, поздно завтракали, занимались делами по дому, ежедневно что-то мастера и ремонтируя, не отказывали себе в дневном сне на веранде. Если утренний улов оказывался неплох, готовили ушницу и ели её на ужин, нахваливая рыбу и свои рыбацкие способности. Когда начинало смеркаться, шли к станции, и Матвеев осыпал отца градом самых важных вопросов, на которые у того всегда находились ответы. На станции они садились на скамейку,

обыкновенно под расписанием, и наблюдали за проходящими мимо поездами и за людьми, сходящими с электричек. Отец курил, и в недвижимом воздухе над головами повисал сизый дым вонючей “Примы”.

В Афгане Матвеев пытался начать курить, но не пристрастился. Курил после боя или просто от сильной усталости, повалившись на землю во время привала или у входа в казарму. В одном из городков, куда они отправились на БМП за сигаретами и едой, их встретила недовольная, рыкающая, галдящая толпа горожан. Матвеев не разбирал, что воият эти люди на незнакомом ему языке, а потому ему то и дело слышалось единственное знакомое слово — “шурави”*. Шурави такие, шурави сякие — таков, наверное, был общий смысл. Видя, что сквозь толпу не проехать, водитель заставил БМП пятиться назад. Толпа взяла машину в кольцо, и командир, до последнего надеявшийся, что вот-вот появится царандой**, приказал дать очередь из башенного пулемёта. Только тогда БМП продолжила отступление.

— Как дела на работе? — разрушил тишину отец.

Он заметно нервничал и, как понял Матвеев, не пытался этого скрыть.

— Сколько мы не виделись? — ответил вопросом сын. — Три, четыре года?

— Больше. Мы встретились, когда ты поступил в училище...

— Притом совершенно случайно, — уточнил Матвеев иронично, — как встречаются старые знакомые — просто на улице.

— Ты сердисься на меня?

— Я сердился прежде, — кивнул Матвеев, — но потом это прошло. Я научился меньше о тебе думать и реже вспоминать.

— Звучит жестоко, — сокрушённо заметил отец.

— Как-то купил тот одёколон, которым ты постоянно пользовался. Ты вечно не знал меры и выливал его на себя чуть ли не литрами. Вот тогда я вновь про тебя вспомнил. В соседнем квартале строчил пулемёт, неподалёку разорвались две мины, лупануло из гранатомёта, а я с ребятами укрылся за стеной какой-то брошенной мазанки и думал о тебе. Хочешь знать, что именно? Я пытался понять, зачем ты стал слать мне письма. Нет, правда, для чего? Считал, что мне будет легче служить? А ты знал, что там, где я нахожусь, идёт война?

— Ваня, почему ты на меня злишься? — растерянно перебил его отец. — Ну, ты прости меня, пойми, что...

Матвеев спустился с веранды и прошёлся по дорожке вдоль дома.

— Я на тебя не злюсь и рассказываю, как было. Ты дослушай, а потом задавай вопросы. Я ведь был рад твоим письмам, полагал, что наконец-то тебе понадобился. И не важно, что не всегда тебе отвечал или писал скупо, только по существу, без всякой там философии. Ты пойми, не до этого было. Может, я был бы рад поведать больше, но что-то, будто какой-то механизм, удерживало меня. Я решил: приеду — и наговоримся. Вот я и вернулся, сам приехал к тебе. И теперь мы сидим на твоей даче...

— Она и твоя...

— Нет, это твоя дача, я не имею к ней отношения, — уверенно ответил Матвеев. — Мы сидим здесь, смотрим на сливовые деревья, которые ты посадил тысячу лет назад и которые, вопреки твоим увещаниям, не хотят плодоносить, выпили водки, над нами безоблачное небо, кругом нас лето, и тебе, наверное, кажется, что всё хорошо.

— Разве нет?

— Очень хорошо! — холодно и чётко отчеканил Матвеев. — Ты в письмах просил меня беречь себя, и я берёг что было сил, хотя порой хотелось подохнуть. Но посмотри: ни одного серьёзного ранения, ни одной болезни, как будто смерть презрела меня. Но это не ты, это мама молилась, я точно знаю. Мы все трое неверующие, но она уж наверняка обрела какого-то бога, чтобы он меня хранил.

* Так афганцы называли советских военнослужащих.

** Здесь — народная милиция Афганистана. Её подразделения сражались на стороне советских войск.

— Ты, Ваня, не подозреваешь, как я переживал, как страдал... С самого первого дня, как мы разошлись с твоей мамой. Ты считаешь, что я сразу забыл тебя, сделался бесчувственным, бессердечным? Нет, неправда. Каждый раз, когда я приходил к своим студентам, я вспоминал тебя. Я верил, что однажды и ты окончишь школу и поступишь в институт, будешь учиться...

— И из меня выйдет толк? — спросил Матвеев зло. — Ты вечно талдычил, что из человека должен выйти толк, иначе его жизнь напрасна. По-прежнему так считаешь?

— А когда я узнал, что тебя отправили в Афганистан, я возненавидел студентов. Я смотрел на них и думал: вот они передо мной — сытые, довольные, ухоженные. Они спят на первых парах, не слушают меня, болтают... Мне хотелось поменять их и тебя местами, чтобы не они, но ты сидел передо мной в светлой и просторной аудитории.

— Когда меня назначили замкомвзвода, в нём было восемнадцать человек. Как ты думаешь, сколько из них вернулись домой?

— Ну, зачем ты об этом? — развёл руками отец.

— А о чём ещё, Игорь Владиленович? — передразнивая его, развёл руками сын и втянул голову в плечи. — Вот ты спрашиваешь, как у меня дела на работе. Да спокойно: делаются дела, зарплата капает.

— Нужно постараться забыть о том, что ты видел там...

Это “там” прозвучало — и это Матвеев почувствовал со всей очевидностью — так, словно отец говорил о далёкой, вымышленной, то есть вряд ли существующей стране. Словно не было страданий, ран, смертей. Возможно, в том мире, в котором жил отец, всего этого и не было. Но только не “там”.

— И впрямь волшебная страна! — воскликнул Матвеев вслух. — Знаешь, чем мы там занимались? Нет, ты послушай внимательно, не отворачивайся. Мы строили дороги, восстанавливали заводы и предприятия, возводили школы и детские сады, в которых так нуждаются юные афганцы. Каждый наш день полнился надеждой, что нам будет, чем гордиться, когда мы вернёмся домой и расскажем родным и друзьям о чудной Республике Афганистан.

— Перестань...

— И вот мы строили, строили, а в нас стреляли и стреляли. Мы возводили, возводили, а нас не щадили и не щадили. Надеялись, надеялись, а наши мечты разбивали в прах. Мы были такие чистенькие и зла не ведали. И вот из моего первого взвода в Союз вернулись я и ещё двое. Остальные так полюбили афганскую землю, что решили остаться лежать в ней. И теперь мы, конечно, расскажем, как строили никому не нужный социализм, как заботились о чужом народе, как учили их людей человеколюбию.

Отец молчал и мусолил в руках папиросу. Табак сыпался на землю, как песок через жерло песочных часов.

— Что же ты приуныл, профессор? Ответь мне: как это пережить, как смириться?

Матвеев налил себе водки, залпом выпил, ощутил жар, обдавший нутро, схватил свою сумку и, выйдя прочь со двора, зашагал к станции. Он не хотел оборачиваться, но всё же один раз повернулся назад и увидел отца, стоящего возле открытой калитки и глядящего ему вслед. “Зачем я только приехал?” — подумал Матвеев и прибавил шаг.

17

Этот звук был хорошо ему знаком: снаружи послышался протяжный тонкий свист, кто-то явно сфальшивил. Так всегда начинался миномётный обстрел. Не тратя времени, чтобы продрать глаза, Матвеев скатился с койки, прижался щекой к холодному полу и прикрыл голову двумя руками. Затем его ослепила яркая вспышка, зазвенел встревоженный голос, отчего-то женский и отчего-то мамин.

Перепуганная, переполошённая, в мелко дрожащем на хрупком теле халате, мать держалась за дверную ручку и повторяла одно и то же:

— Ванечка, что с тобой?

Словно провинившийся ребёнок, он поднялся с пола, прислушался и различил, что внизу, под окном, кто-то насвистывал простой мотив.

— Мне что-то приснилось, — ответил Матвеев, привыкая, что находится не в палатке-казарме, а в собственной комнате. — Только я не помню что.

— Ты громко кричал, — сказала мать, опускаясь на стул. — Мне даже почудилось, что ты зовёшь меня на помощь.

— Долго я кричал?

— Очень. Я испугалась, что ты перебудидишь соседей. Ты же знаешь, они у нас люди нервные...

— Знаю, знаю... Прости, не хотел тебя огорчить. Иди спать...

— Разве теперь уснёшь?

Удивительно добрые у неё были глаза. Прежде он не замечал, что они такие. Он всегда считал, что глаза у матери грустные и часто строгие, но теперь видел, что они добрые. У него самого — как на снимке в её комнате — такие были в детстве. А вчера, когда он посмотрелся в зеркало, глаза были пустые и некрасиво серые. Как день, потонувший в густом тумане.

— Звонил отец, — призналась мать, — говорит, ты на него обиделся. Ты ездил к нему, а мне ничего не сказал?

— Нечего было говорить. Мы посидели, и я убрался восвояси. Он невыносим. Знаешь, невероятно невыносим, я и не подозревал, до какой степени. Давно его не видел и представлял другим. А теперь вижу, что ты была права, называя его несносным и себялюбивым.

— Да я же со зла это говорила! Он хороший человек.

— По крайней мере, я не почувствовал ничего общего между ним и собой. Странно, я ведь долгое время был уверен, что скучаю по нему, но теперь и думать о нём скучно. Он даже не захотел меня выслушать! Я готов был выложить всё, о чём душа болит, а он... Знаешь, что я увидел?

— Что?

— Сидит эдакий профессор на своей крохотной дачке, обложился книжками и сочиняет, как осенью первакам про жизнь будет рассказывать. А что он о ней знает?

— Ваня, ты какой-то сердитый и несправедлив по отношению к нему.

— Он ничего и не знает, — продолжал распалаться Матвеев, — а я знаю. Я знаю! Я видел эту жизнь. И то, как она покидает человека. Не представляю, что может быть страшнее.

Мать опустила голову.

— Это вам тут лапшу на уши вешают, будто мы в Афганистане сеем разумное, доброе, вечное, а на деле мы сеем смерть и её же пожинаем. Думаешь, легко было переносить ненависть местных, терпеть, что нас калечат и убивают?

— Ванечка, не нужно, хватит...

— Конечно, хватит... Ты тоже не хочешь слушать, отец не хочет. А кто хочет? Что ж, лягу спать и, наверное, усну. Или проваляюсь до рассвета, не сомкнув глаз. Не всё ли равно? Утром поднимусь, позавтракаю и пойду на работу, сделав вид, что я такой же, как все. Только эти все смотрят на меня такими зверьми, что страшно делается. Что, скажете, за полтора года стал меньше походить на человека? Что со мной не так? Почему люди держат со мной дистанцию? Вот он, Ваня Матвеев, вернувшийся из Афганистана, где идёт война. Воин-интернационалист. Кто придумал такое? Да чёрт с ним, в конце концов! Знаешь, как они на меня смотрят?

— Ложись спать, ты устал. Завтра поговорим...

— Они чувят, они не могут этого не чувствовать: Матвеев убивал, считают они. Знают. Убеждены. Значит, к нему не подходит. Значит, он другой. А что во мне другого? Такие же руки, не боящиеся труда, такие же ноги, преодолевающие километр за километром. Убивал или не убивал — какое им до меня дело? А они на моём месте что, подняли бы лапки кверху, чтобы только не замараться? Да я, может, чище их всех, хотя бы потому, что столько слёз пролил, что вся грязь, если и была внутри, давно вытекла. Я бы и не

думал обо всём этом, если бы вы не глядели на меня так, как глядите ежедневно. Даже ты. Ненавижу эти взгляды. Мне жить хочется. По-новому, будто ничего не случилось. Слышишь?.. Мам, мам, ну, чего ты опять плачешь? Не надо, прошу тебя. Прости! Я наговорил с три короба...

Он подошёл к ней и положил руки на плечи. Она вздрогнула от неожиданности. Его глаза были бездонно серыми и неподвижными: впились в неё и не отпускали. Ей стало не по себе, и она прикрыла лицо ладонями.

Матвеев отошёл и принялся вглядываться в темноту под окнами, где несколько минут назад кто-то свистел, но там уже никого не было.

18

В соседнем помещении, то и дело срываясь на визг, горланил Семёнов. Ему вчера крепко досталось от Матвеева и теперь, кое-как отлежавшись, он пришёл в контору, требуя не то отмщения, не то извинений. Но Матвеев извиняться не думал: он забросил ноги на захламлённый стол, заложил руки за голову и слушал, о чём разоряется обиженный им мастер.

Семёнов был неплохой мужик, но весь какой-то полинялый, скучный и приторно обыкновенный. Наверное, оттого, что пил. А когда пил, нёс околесицу, совсем как вчера, когда попытался поговорить с Матвеевым по душам.

Матвеев не сводил взгляда с его маленьких круглых глазок, а потом просто взял, размахнулся и одним ударом уложил Семёнова на пол, как раз в этой комнате, где теперь сидел, нисколько не переживая о том, чем может обернуться его вчерашний поступок.

Побитый мастер кричал за дверью, что дойдёт до милиции и напишет заявление и, по всей видимости, пытался открыть дверь, чтобы добраться до Матвеева, но ему не давали. Женский голос утешал Семёнова простить своего молодого коллегу. Недавний хмель не выветрился ещё из линиялого мастера до конца, и он не то что не успокаивался, а, напротив, все больше раззадоривался. Может, принял на грудь ещё.

А всего-то было: Семёнов начал пить с товарищами после обеда и время от времени подходил к Матвееву, чтобы расспросить, как тому служилось, что за страна этот Афганистан. Матвеев, хоть и нехотя, поначалу лаконично отвечал, но, видя, что мастер пьянеет всё больше, предпочёл умолкнуть и только выслушивал пространные семёновские рассуждения о жизни вообще, а затем о войне. Матвеева коробило от его речей и перегара, но он терпел. Наконец, Семёнов озвучил самую главную свою мысль. Он даже набрал в лёгкие побольше воздуха и, наконец, — как выплонул — сообщил, что война, ведущаяся в Афганистане, бессмысленна. Матвеев усмехнулся и попросил раздухарившегося мастера вернуться к своим собутыльникам. Это Семёнов воспринял как оскорбление и выпятил вперёд грудь, сделав шаг в сторону Матвеева. Всё выглядело настолько нелепо, что он засмеялся во весь голос. Семёнов глядел на него озадаченно, а потом, словно подыхающая змея, выдавил из себя: “Что ж ты, сука, ржёшь? Ты же там детей и женщин насиловал. Ты же, паскуда, мирное население гробил. Не для того тебя туда, падаль, послали! Ты же, б..., стыдобище! Тебе подохнуть там нужно было, а не возвращаться...”

Большого Семёнов сказать не успел, потому что сильный удар, пришедший между глаз, повалил его наземь. Семёнов, хотя в голове всё ходило ходуном, сразу же попытался подняться, но, увидев стоящего над собой Матвеева, притих. Молодой мастер с криво ухмылкой поглядел на старого и, прихватив свои вещи, покинул контору. Никто не стал ему напоминать, что до конца рабочего дня оставалось час двадцать.

19

Ему требовалось знать: свидание у них или нет. От этого зависело что-то крайне важное, чего он, однако, не мог для себя сформулировать.

Спросить напрямую было неловко, и он шёл, ведя её за руку, или, может, это она вела его за собой, устремляясь по дороге мимо одинаковых домов

с одной стороны и невзрачных заборов с другой. Он не знал, куда она его тащит, и об этом тоже боялся спросить: будь что будет.

Они встретались со Светой уже в пятый раз. Вчера был четвёртый, и они промкли до нитки, пока бежали от метро. Она предлагала переждать на автобусной остановке, но там собралось много народу, и ему не хотелось толкаться среди них, ища местечко под крышей. Лучше было бежать под дождём.

Света спешила в универмаг до закрытия. Да, конечно же, она говорила об этом ещё вчера, но он не запомнил. Теперь он брёл за нею, и ему было скучно.

Вылазки на афганские базары всегда оборачивались рискованными мероприятиями, но там можно было разжиться полезными вещами. В первый раз Матвеев купил себе кроссовки. Они сослужили ему добрую службу.

Однажды он приценивался, чтобы купить японский магнитофон, и сделка уже почти состоялась, но тут Матвеева кто-то окликнул. Позади него стоял афганец с густыми усами и талдычил что-то по-своему. Матвеев стал показывать знаками, что не понимает, но тот верещал всё громче. Из толпы вынырнул прапорщик Скворцов:

— Чего уши развесил? Они ж тебя разводят. — Он указал на прилавок с японским кассетником. — Пока ты слушаешь карлика, этот мудака тебя нагрывает, — он кивнул на дукащика*.

— Как же так, товарищ прапорщик?

— Не первый раз замужем, — осклабился тот довольно.

Скворцов резво снял с плеча АКС и, размахнувшись, ударил прикладом по магнитофону. Тот треснул, полетели осколки. Скворцов поднял японское чудо техники и молча продемонстрировал, что внутри оно пусто. Матвеев со злобой поглядел на дукащика — тот молчал, скрестив руки на груди.

— Ладно, сержант, погнали отсюда, пока он друзей не позвал на выручку.

С тех пор Матвеев вёл себя на базарах осторожно, но японский магнитофон так и не купил.

Кто-то из солдат приобрёл колоду порнографических карт, и затем весь вечер дулись в дурака, но больше всё же рассматривали фотографии и раскрывали друг перед другом карты, показывая, какими оригинальными и неожиданными могут быть позы. Разговор вскоре перешёл на женщин, и кое-кто хвастал без конца своими подвигами, а Матвеев верил и не верил рассказчику, и немало ему, разумеется, завидовал, и когда подошла его очередь делиться опытом, он встал, оправился и вышел прочь под дружный хохот. Он слышал, как кто-то бросил ему в спину, что, мол, сержант пороха на всю жизнь нанюхался, а запах бабы себе может представить только по этим картам, и то потому, что они пахнут полиграфической краской.

У него с Алисой это чуть однажды не случилось. Он пришёл к ней, когда родителей не было дома. Она завела свою “Ригонду”, поставив на вертушку пластинку певца, чей портрет висел на стене, и встала перед Матвеевым, закрыв глаза. Он стал целовать её губы, щёки, шею, а она не противилась, как это случалось прежде. Но тогда — другое дело: тогда и ему было уютно в полутьме подъезда, у батареи, упершейся в бедро.

Он подхватил её на руки и аккуратно положил на постель. Истощенно запищал старый одноглазый игрушечный медведь, и Алиса, вытаскивая его из-под Матвеева, звонко смеялась, а он уже торопился расстегнуть её блузку и лифчик с непослушной застёжкой. Справившись с ней, он приник к Алисиной груди и, замерев, услышал, как колотится её сердце. Она была взволнована не меньше него. Но затем грозно зазвенел звонок в прихожей, и девушка кинулась одеваться, а Матвеев переместился в кресло. Пот тёк по его раскрасневшемуся лицу. Следовало умыться, но на беду дверь в ванную комнату находилась в прихожей. Матвеев вытащил из портфеля Алисы первую попавшуюся тетрадь, раскрыл наугад и забегал глазами по строчкам, ничего не соображая.

* Торговец. От “дукаан” — торговая лавка.

Потом Алиса смущённо сидела напротив него с чашкой чая, а он, отвалившись на спинку кресла, размышлял о том, как глупо всё вышло.

— В каких облаках ты всё время витаешь? — строго спросила Света, возвращая Матвеева из прошлого в настоящее. — Ты меня не слушаешь, да?

Они стояли возле её подъезда. Матвеев совсем не помнил дороги из универмага сюда, а ведь это почти двадцать минут. И о чём он говорил с ней всё это время, он тоже представления не имел.

Она ждала ответа, и он чувствовал, что его долгое молчание всё усложняет.

— Помнишь, ты как-то сказала: хорошо, что мы не знаем, что такое война? А я ведь был на войне. Я знаю.

Что-то переменялось в её лице: он сразу уловил, и она отпрянула, попятилась назад.

— Эй, ты чего?.. — испугался он.

— И ты... Ты ничего мне не сказал? — еле-еле выговорила она.

— Но разве это что-то может изменить?

Она продолжала отступать.

— Да перестань, всё же в порядке!

— Нет, не в порядке, — прошептала она. — Ты обязан был мне сказать!

Спустя полчаса, когда Матвеев, не включая лампы, сидел в своей комнате, он не мог припомнить последние слова, сказанные ею. Кажется, она просто молча скрылась в подъезде.

20

Может быть, об этом давно написаны целые романы — Матвеев их не знал. Что значит убить? Ответ на этот вопрос он получил, когда человек, сражённый пулей из его автомата, упал в придорожную пыль. Всё произошло быстро: палец надавил на гашетку, раздалась очередь, и мужчина, бежавший прямо на Матвеева, рухнул на землю. Колени его как-то разом подломились, и он грохнулся на них, а затем повалилось всё его тело, вздрогнуло дважды и замерло. Всё это чистая случайность, этого не должно было произойти ни с афганцем, ни с похолодевшим на сорокоградусной жаре Матвеевым.

Он был убеждён: не выскочи дух из-за угла мазанки, ничего этого не было бы. Ни ручейка крови, бегущего из безжизненного тела, ни пота на лице Матвеева.

Это сейчас ему думалось, что после роковых выстрелов прошло несколько минут, прежде чем он опомнился, а на самом деле минуло не более пяти секунд, как он перевёл взгляд с тела на дом, из-за которого только что появился моджахед. Матвеев чувствовал, что он притаился там не один, и чувство не подвело: оттуда же появились ещё двое, и сержант не растерялся и дал продолжительную очередь, и снова увидел, как бухаются в пыль тела. Заметил, как устремлена на него пара глаз, и что-то жалобное померещилось ему в том последнем, прощальном, но вряд ли прощающем взгляде.

А затем он ощутил хлопок по спине. Это кто-то из своих побежал вперёд и позвал Матвеева с собой. Он поднялся и бросился следом, на ходу меняя магазин. Отовсюду доносились выстрелы и крики, и Матвеев слабо понимал, что происходит, и слабо представлял себе, где находится. Голова кружилась от жары, а глаза заливал солёный едкий пот. Потом он увидел прямо перед собой фигуры, сразу сообразил, что это враг, и открыл огонь. Едва магазин опустел, он бросил АКС и выхватил нож. Но перед ним уже никого не было. Он зверем глядел по сторонам, но звуки боя стихли.

— Харэ, остынь, — сказал кто-то позади него и громко сплюнул на землю. — Утекли духи, отдыхаем.

Матвеев спрятал нож и приложил ладони к своей гладко обритой голове. Он всё тёр и тёр лоб и не мог перестать.

— Что, первого шлёпнул? Ничё, отпустит скоро, обычное дело, — сообщил голос будничным тоном.

Матвеева едва не вывернуло наизнанку, но не оттого, что он оказался над телом первого убитого им человека. Его мучило от этого противостест-

венного слова “шлёпнул”. Шлёпнул, кокнул, уложил, щёлкнул, кончил, угробил, приютюжил — все эти глаголы ему хотелось раз и навсегда вычеркнуть из словаря.

Преодолевая страх и безразличие, он перевернул труп убитого духа и посмотрел ему в лицо. Это был молодой парень. Чёрная борода прибавляла ему десяток лет. Левую щеку пересекал глубокий уродливый шрам; совсем свежая рана перерезала левое веко.

— Ты чего там церемонишься? — спросил старший лейтенант Борисов. — Жалеешь, что ли? На прошлой неделе троим нашим из соседнего полка глаза вырезали и бросили тела посреди дороги. Хорошо, не над живыми глумились. Ты это, Матвеев, брось! Их жалеть нельзя, отойди, пусть валяются. Бородатые придут и заберут. Пусть хоронят по ихним обычаям.

Всю дорогу назад Матвеев молчал и, трясясь на броне, в сотый раз рассматривал фотокарточку Алисы.

— Девушка твоя? — спросил Черкес, протягивая руку, чтобы взять снимок.

Матвеев вздохнул и соврал:

— Моя. Ждёт не дожждётся меня.

— Красивая, — улыбнулся Черкес. — Моя меня тоже ждёт.

Матвеев забрал у него снимок и убрал в карман.

Он размышлял, смог ли бы признаться Алисе, что убил человека, или нет. Вряд ли бы ему достало смелости. Да и как сказать?

— Знаешь, Алиса, я убивал людей.

Так не скажешь.

— Ты убил кого-нибудь? — спросит она однажды.

— Пришлось, — ответит он. — Это было жизненно необходимо. Иначе бы я не вернулся к тебе.

Слёзы брызнули из его глаз. Он отвернулся, чтобы никто их не увидел, но все поняли.

— Как вернёмся, — приказал Борисов, — налейте ему водки. И только попейте отказаться, Ваня! Напейся, понял?

— Так точно! — процедил Матвеев сквозь зубы.

— Но так, чтобы утром был как огурчик.

— “Я в кармане своей гимнастёрки // твоё фото в блокноте храню...” — запел Черкес, и ребята подхватили:

*И в афганских горах на привалах
На него я с надеждой смотрю...*

21

Они встретились случайно. Матвеев срезал путь по вытоптанной в траве тропинке между домами, а она, укрывшись в тени старого ясеня, качала легонько коляску, в которой спал младенец. Матвеев узнал Алису, только когда поравнялся с ней; остановился ошеломлённо, вытянулся, словно по команде “смирно”, и слотнул комок, подкативший к горлу.

— Здравствуй, Ванечка, — кротко произнесла Алиса, и от голоса её всё внутри его растаяло, нежность прилила к самому сердцу.

Он не верил, что встретил её; совсем недавно рассуждал, что лучше будет никогда с ней не пересекаться, но теперь она стояла перед ним почти не изменившаяся, только подстриженная чуть короче, чем он привык. И деться ему было некуда.

— Алиса... Что ты здесь делаешь?

— Вот мой дом, — указала она на один из домов. — Забыл, что ли?

Он помнил, хотя довольно смутно, и этот ясеня, и те растущие ближе к дороге конские каштаны, и поросший травой холмик, на вершине которого поблёскивали осколки бутылочного стекла, и саму эту тропинку. Когда-то зимой они пробирались здесь по колену в снегу, хватаясь за ветки кустов, чтобы не упасть, и смеялись от радости, от морозного восторга. Снег, попадая на лица, обжигал.

— Когда ты вернулся? Почему не позвонил?

— Месяца два назад.

— Как ты? — Алиса положила руки ему на плечи.

— Устроился, работаю, привыкаю к жизни на гражданке. Обычный член общества. Есть свои недостатки, но я над ними работаю.

Алиса засмеялась, прикрывая рот ладонью и глядя, не разбудила ли малыша.

— Мальчик?

— Девочка. Наташенька.

— Ну, поздравляю...

— Ты расскажи про себя, я почти ничего о тебе не знаю с тех пор, как ты перестал мне писать. К маме твоей заходила, но разве она скажет что-нибудь? Отвечала вечно, что у тебя всё хорошо. Она такая холодная. Я ей совсем не нравлюсь.

— Да нравишься... — неуверенно ответил Матвеев. — А что я? Два года пролетели как месяц, не заметил даже.

— Выдумщик!

— Нет, правда...

— А что теперь? Не пойдёшь учиться?

— Вроде всему уже научился. Работаю электромехаником. Работа не самая престижная, но люди уважают.

Алиса покачала головой:

— Не этого ты хотел от жизни.

— Пока что меня всё устраивает, — сказал он, разглядывая маленькую девочку, спящую в коляске, внешне не имевшую ничего общего с Алисой. — Трудно с ней?

— Хлопотно, и я совсем не высыпаюсь.

— А муж?

— Я одна.

— Ясно.

Отчего же тогда всё разладилось? Той весной Алиса заканчивала десятый класс, предстояли вступительные испытания в вузе; Матвееву в училище оставалось чуть больше года. Встречались всё реже. Ещё зимой это началось: Алиса твердила, что впереди серьёзные экзамены, нужно готовиться, и в его представлении эта подготовка стала чем-то не имеющим ни начала, ни конца. Она не звонила, а когда набирал он, чаще всего слышал, что позвонил не вовремя. Его это угнетало; он потерял покой; молчание и равнодушие Алисы его мучили.

В апреле у неё был день рождения. Он позвонил, прозвучали девять или десять гудков; когда появился её голос, поздравил — коротко и нежно. Она поблагодарила. Возникла пауза. Матвеев ждал, что она пригласит его на празднование, как это было год назад, но она лишь вздохнула и посетовала, что очень устала, а ещё столько всего нужно сделать. На том и простились.

Больше он не звонил. Приходил в июне на выпускной, был рад за неё и других. Летом узнал от кого-то из знакомых, что она поступила в институт. Хотел поздравить, но не застал её дома.

В училище была одна девчонка. Матвеев несколько дней был влюблён в неё без памяти, а потом как отрезало. Каждый раз, целуя Ирину, он представлял себе Алису. В конце концов, это стало сводить с ума. Поздним вечером он пришёл к дому Алисы, долго стоял под её окнами, потом поднялся на пятый этаж.

— Вы что так поздно, молодой человек? — с улыбкой спросил её отец, открывая дверь. — К Алисе? Сейчас...

И она вышла к нему — красивая, собранная, со взглядом, сразу всё сказавшим: “Ну, чего?”

— Я просто так зашёл. Соскучился, — едва заметно улыбнулся Матвеев и развернулся, чтобы уйти.

— Странный ты какой-то. Что-нибудь случилось?

— Говорю же: просто соскучился.

— Чего же сразу уходишь?

— Мне пора...

И Матвеев зашпешил вниз.

С Ирой он порвал через несколько дней; она громко рыдала в тёмном закутке под лестницей, ведущей в подвал, а он стоял рядом и не знал, как её утешить. Она пыталась его обнять, притянуть к себе, но он каждый раз отстранялся.

— Какой ты жестокий! — закричала она.

Был поздний вечер, и в училище почти никого не осталась. Меньше всего Матвееву хотелось свидетелей.

— Проводишь меня до подъезда? — спросила Алиса. — Поможешь с коляской? Дома никого, а одной не справиться.

— Помогу, — ответил Матвеев. — О чём ты говоришь...

22

В августе восемьдесят второго Матвеев побывал в Союзе. Об этой поездке никому не рассказывал, даже полунамёка в письмах не сделал. А вышло всё очень просто: у Матвеева погиб друг — Петя Куваев. Погиб обыкновенно, как многие здесь, — в бою. И сопровождать цинкача, как цинично называли погибших товарищи, доверили Матвееву.

Пете было девятнадцать. Отзывчивый, словоохотливый, добрый парень, никогда не терявший присутствия духа, он понравился Матвееву сразу. Низкого роста, в форме, которая, казалось, ему велика, он у многих вызывал улыбку; если иные и усмехались, видя его впервые, то вскоре они, сошедшись с ним поближе, начинали Петю уважать. Он многое знал и умел; он любил Высоцкого и часто пел его песни. Постоянно всех смешил, пулемётной очередью выстреливая анекдот за анекдотом. Были среди них скабрёзные. За них Петю особенно ценили. Так он мастерски рассказывал, что порой, зная уже содержание, просили повторить. Петя не отказывал никому и никогда. Писал стихи, и этим тоже нередко пользовались, прося сочинить четверостишия для любимых девушек и матерей. Стихи для мам, которых Петя в глаза не видел, удавались лучше всего.

У Пети было обычное, не запоминающееся лицо. Матвеев, чтобы попытаться запомнить его раз и навсегда, заглянул в маленькое застеклённое окошечко цинкового гроба за минуту до того, как заколотили деревянный ящик, в котором гроб отправлялся в полёт. Спокойное лицо Пети было лицом пятнадцатилетнего, не старше, паренька. И такая жалость взяла Матвеева, что он, взмахнув от отчаяния рукой, отошёл от гроба, как бы говоря: “Ну же, вбивайте свои гвозди!”

Ан-12 медленно кружил над аэродромом, набирая высоту. В грузовом отсеке воздух становился все разреженней; Матвеева мучило, и пульс стучал скоро и сбивчиво. Матвеев с завистью смотрел на людей в уютной и тёплой гермокабине. Там находились офицеры; некоторых он знал, они летели в отпуск. Здесь же, в неприятном и холодном грузовом, по лавкам вдоль бортов сидело, преодолевая тошноту, несколько солдат. Матвеев знал, что на такой высоте, если летишь не в гермокабине, можно лишиться сознания, и он согнулся, обхватив колени руками. “Только бы перетерпеть, только бы пережить...” — шептал он самому себе.

“Чёрный тюльпан” перестал наворачивать круги.

— Ну, всё, семь тысяч, не меньше, теперь не собьют, гады, — сообщил один из солдат. — Телепаться нам, братухи, несколько часов. Эх, чаю бы с булкой сейчас, да с изюмом!

— Заткнись, не то я блевану прямо на тебя! — ответил ему сосед. — Как ты живёшь вообще, дядя? Всё время о еде треплешься.

Полёт был мучительно долгим, и когда, наконец, Ан-12 стал заходить на посадку в Воронеже, Матвеев почувствовал что-то вроде облегчения.

Он спустился по трапу на бетонку, стрельнул у ребят папиросу и закурил.

— Куваев! Куваев! — услышал он чей-то зов. — Где Куваев?

Перед Матвеевым выросла фигура в кепке. Словно не замечая стоящего перед ней сержанта, фигура заглядывала ему за спину, в сумрачный грузовой отсек, и повторяла:

— Куваев! Куваев!

Матвеев догадался, что мужчина ищет того, кто сопровождает тело рядового Куваева.

— Я с ним, — произнес Матвеев.

— Славненько тогда.

Он сделал знак рукой, и вскоре к трапу подъехал гружённый песком “КамАЗ”.

— Что это? — не понял Матвеев.

— Как что? Транспорт до места жительства и захоронения. Документы покажь, — потребовал мужчина в кепке.

Матвеев вытащил из кармана бумаги и протянул ему.

— Ну вот, Пётр Петрович Куваев, одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года рождения... Всё сходится. Значит так. Грузим гроб в песок и поехали.

— Почему в песок? — снова не понял Матвеев.

— Такой приказ: доставить до места жительства в песке.

— Ерунда какая-то, — нервно хохотнул Матвеев. — Ошибка, что ли?

— Ну, ты чё, сержант? Думаешь, в первый раз едем? Садись, короче, в кабину, жди водилу.

Матвееву вдруг стало всё равно. Навалилась накопившаяся усталость. Забравшись, как было сказано, в кабину, он тут же уснул. Через сон слышал, как зашумел двигатель, как, качнувшись, грузовик тронулся с места. Он чувствовал, как подбрасывало на ухабах, но продолжал спать. Пару раз приоткрывал глаза и видел тёмно-синее ночное небо, усыпанное звёздами. Водитель то и дело шмыгал носом, а Матвеев не мог понять, то ли насморк у него, то ли такая привычка. Потом он отрубился, судя по всему, на пару часов и очнулся от того, что его кто-то настойчиво и грубо расталкивал.

— Ну, давай, просыпайся, — приказал неприятный голос. — Ты кто?

— Сержант Матвеев...

— Меня зовут военный комиссар подполковник Груздев, — представился новый пассажир. — Еду с вами до самого конца. С родственниками говорить буду я. На их вопросы не отвечай, если что, сразу посылай ко мне. Ясно?

— Так точно, товарищ подполковник, — ответил Матвеев. — А скажите, для чего гроб в песке везём?

— Для маскировки, б..., — недовольно ответил Груздев. — Положено, — проговорил он по слогам, явно не желая развивать эту тему.

— Странно это, товарищ подполковник.

— Поспи пока, — сказал тот, — нам ещё далеко. Нас там ждут и спать не могут. А ты спи.

23

В деревню прибыли на рассвете. “КамАЗ”, громко рыча, растревожил собак и остановился у нужного дома. Почти сразу из дома высыпали люди. Впереди семеня женщина, неловко пытаясь повязать на голову платок. Её заметно качало из стороны в сторону, и мужчина, шедший следом, видимо, её муж, поддерживал её под локоть.

— Мама, это Петька приехал? — закричал маленький мальчик, опередивший родителей и уже стоявший возле грузовика.

— Тихо, Валька, тихо, — шикнула старуха, шедшая позади всех. — Люди спят ещё.

Но люди не спали: лица соседей виднелись в окнах домов, а кое-кто вышел на улицу и, остановившись в отдалении, наблюдал за происходящим.

— Где же Петька? — удивился Валька, обежав вокруг грузовика и глядя на гору песка в кузове.

— Куваевы Пётр Кузьмич и Мария Фёдоровна — это вы? — привычно безразличным и деловым тоном осведомился военком.

— Мы и есть... — растерянно ответил мужчина.

— Времени терять не будем. Телеграмму получили?

Отец Пети кивнул.

— Полагаю, на кладбище всё готово. Сейчас поедем. Только пройдем в дом, есть пара деликатных, так сказать, моментов... — Груздев направился к дому, а растерянный отец поспешил за ним.

— Где же мой сыночек? — воскликнула мать.

— Да не беспокойтесь, — не оборачиваясь, ответил Груздев, — гроб в песок пока зарыли. Мало ли, увидит кто.

— Ох... — вздрогнула Петькина мать, хватаясь за грудь. — Что же они...

— Осторожней! — Матвеев успел подскочить к ней и схватить за плечи, чтобы она не упала.

— Как тебя зовут? — спросила женщина.

Она неизвестно как стояла на ногах. Держа её, Матвеев чувствовал, что силы в ней нет никакой.

— Я Иван. Мы с вашим сыном служили...

— Он писал про тебя, — сказала она, и в глазах её загорелся огонёк, но вскоре угас. — Расскажи про Петю. Как он погиб?

Матвеев вспомнил строгий наказ Груздева и с ответом мешкал.

— А мне вот что написали, — сказала женщина, разворачивая бумагу, но не глядя в неё. — “Командование, партийный комитет, комсомольская организация, весь личный состав войсковой части выражают глубокую скорбь и соболезнование по поводу постигшей вас утраты — гибели нашего однополчанина гвардии рядового Куваева Петра Петровича...”

К голове Матвеева с каждым словом всё сильнее приливал жар, и земля качалась под ним.

— “В период выполнения интернационального долга, — продолжала она читать наизусть, — Пётр Петрович проявил высокие морально-политические и боевые качества, преданность делу коммунистической партии, социалистической родине. Выполняя боевое задание...”

Он слушал её и не мог взять в толк, отчего эти письма обыкновенно так сухи и безжизненны, отчего о людях в них сообщается, как о вещах.

Во дворе вновь возник военком. Он недобро поглядел на Матвеева — видимо, события развивались не так, как он планировал. Но нужно было поскорее закончить дело. Это понимали оба.

24

Светлана второй день не отвечала на звонки. С того вечера, когда они виделись в последний раз, прошла неделя. Сначала Матвеев думал, что девушка позвонит сама — вот только свыкнется с мыслью, что он был на войне, и сразу позвонит. В голове вертелось: “Она должна простить меня за это”.

Матвеев не понимал, что её так испугало, почему она отшатнулась от него, отчего предпочла затаиться. Он терпеливо ждал, предполагая, что ей нужно привыкнуть, но не был готов к тому, чтобы распрощаться с ней навек. “Если она пропадёт — пропаду и я” — эта несложная закономерность не давала ему покоя.

После работы болела голова, и некуда было деться от гула в черепной коробке, от пересыхающего рта и еле ворочающегося языка. Летняя духота доканывала его, и он смеялся, что в краю, где от духоты негде было скрыться, где дневной зной и жар были вечными спутниками, он переносил всё без особых проблем.

Раздражала мать, которая никак не могла забыть о случае с мастером Семёновым. Ванин начальник звонил ей и вёл долгую беседу, объясняя, что сыну необходимо внимание; что, возможно, за время службы в армии с ним произошли “некоторые изменения не лучшего свойства”. Человек, говоривший об этом матери Матвеева, старался быть вежливым, а ей слышалось одно: “Вам бы вашего сына подальше от общества нашего держать, гражданка Матвеева, и всё было бы хорошо!” Она долго жила с этой мыслью, а затем пришла к сыну и каялась зачем-то, что невнимательна к нему, что проявляет недостаточно заботы. Матвеев уверял, что это не так, обнимал её, но всё было зря.

Затем она попыталась убедить его, что следует извиниться перед Семёновым, но Матвеев оставался непреклонен: он не сделает этого ни за что, и ничто его не заставит. Мать просила, чтобы он задумался о возможных последствиях, а он, рассердившись, ушёл из дома и долго скитался по окрестным дворам. Каждый напоминал ему какой-нибудь эпизод их детства: здесь жгли костёр, тут дёргали девчонок за косички, устроив засаду после уроков, а там крутились на качелях “солнышком”.

К умирающей яблоне во дворе, где когда-то строили снежную крепость, кто-то прислонил трёхногий стул и для верности привязал его к стволу верёвкой. Матвеев любил это дерево. Когда-то оно осыпало их, мальчишек, яблоками — кислыми-прекислыми. Скулы сводило от их кислоты, но всё равно эти яблоки ценились. С их помощью проводили важную проверку: если кто-то желал примкнуть к их дворовой отвязной компании, он обязан был съесть подряд три кислеших яблока, не сетуя на трудность испытания. Один мальчишка так перепугался показавшегося из плоти яблока белоголового червя, что с ужасом забросил круглый зелёный плод куда подальше и рванул со всех ног под дружный хохот Матвеева и товарищей.

Компания — товарищество, как называли себя её члены, — дни напролёт проводила, играя в казаков-разбойников, ножички, вышибалы и, конечно же, футбол. Память о тех далёких днях разлилась в крови Матвеева одновременно мёдом и ядом: радостно было знать, что детство прошло счастливо; отравляла мысль о том, что всего этого не вернуть.

Матвеев твёрдо решил, что нужно зайти к Свете сейчас же, чтобы ответить на все её вопросы и преодолеть стену непонимания, возникшую случайно, без веских причин.

Он трижды надавил на звонок, прежде чем кто-то подошёл к двери и прильнул к глазку.

— Ваня, ты?

— Я. Открой, нужно поговорить.

— Уходи, пожалуйста... Нам не о чем говорить.

— Как это не о чем? — Матвеев занёс руку, чтобы позвонить ещё раз. — Всё время было о чём, а теперь нет? Что я сделал не так? — спросил он с обидой.

— Всё в порядке, — ответила Света, — но прошу тебя: уходи.

— Открой!

Некоторое время было тихо — она раздумывала. Потом щёлкнул замок и дверь приоткрылась.

— Ты прости меня, но... — Света запнулась. — Нам лучше больше не общаться.

— Да погоди ты! Объясни почему, и я... — Матвеев устало привалился плечом к стене.

— И что?

— И я постараюсь тебя понять. Я тебе разонравился или что?

— Вовсе нет, — неловко запротестовала Света, — дело не в этом... То есть да, ты мне нравишься, но...

— Опять “но”? Светка, будь человеком, объясни, что происходит. Я пойму. Правда-правда. Обещаю.

— Обещаешь? — с сомнением переспросила она.

— Конечно. Я слово держать умею.

— Понимаешь, — вздохнула она, — меня пугает, что ты был там...

— И меня пугает, — отшутился он. — Но что с того? Там много кто был.

— Я слышала, что люди, вернувшиеся с войны...

— Что, не такие, как ты? — зло бросил Матвеев, уже знакомый с этой песней. — Конечно, не такие. Куда нам.

— Брось, я не об этом.

— О чём тогда?

— Я тебя боюсь, Матвеев.

Она никогда не звала его по фамилии. Называла Ваней, Иваном, Ванькой. Ванькой — когда он целовал её волосы. А Матвеевым — никогда.

— Я злой и страшный серый волк... — пробормотал он, прикусывая губу. — Вот что.

— Что?

— Поступим так: я сейчас уйду и больше не буду тебя ни о чём спрашивать. Лады?

— Лады, — кивнула Света.

— Но ты за это позвонишь мне через день или два. Максимум три. И мы поговорим. Договорились?

— Я не буду тебе звонить.

— Да что во мне не так? — отчаявшись, спросил он. — Руки на месте, ноги тоже, лицо есть, пусть и некрасивое...

— Красивое...

— Голова на плечах, ветер в голове не свищет. Нормальный парень. — Матвееву понравилось хвалить себя, но всё это он произнёс серьёзно, без тени улыбки.

— У тебя сердце другое. Прости меня, Ваня...

Словно выстрел прозвучал хлопок двери.

— Ну и дрянь, — проговорил он, глядя с ненавистью на глазок. — Что же ты за человек такой?

25

На похоронах Куваева военком строго разъяснил родителям погибшего бойца: на надгробном памятнике никакого упоминания войны и Афганистана. Это требование сильно ранило Матвеева, может быть, больше, чем Петькиных родителей.

Проститься с Куваевым на новое, почти не заселённое лесное кладбище пришли немногие: родители, пара хмурых дядьёв, кое-кто из соседей. Матвеев особо не присматривался к людям; он вообще страшился поднимать глаза — так ему было стыдно из-за нелепости происходящего. И из-за гроба в песке, из-за равнодушия военкома.

Поминки проходили в доме. Дом был небольшой, уютный и чистый. Под иконой в одном из углов горела свеча. Присутствие иконы в жилище поразило Матвеева: он никогда прежде такого не видел.

Говорили за столом мало, вероятно, стесняясь чужих, в особенности гордо восседавшего военкома Груздева. Вид у него был недовольный, и было похоже, что он вскоре встанет, простится со всеми и поедет. Но он продолжал сидеть и опрокидывал в себя одну за другой рюмки с водкой. Матвеев пил воду и стыдился даже этого.

Отец Петьки коснулся его руки и тихо предложил выйти покурить. Матвеев с радостью согласился.

Они расположились на ладно сбитой лавочке в тени, падавшей от дома.

— Нам ничего ведь не говорят. Ты знаешь, как он погиб? — спросил отец смущённо о своём сыне.

Матвееву стало стыдно, что человек, потерявший ребёнка, вот так, чтобы никто только не услышал, спрашивает о его гибели.

— Мы вместе были в том бою, — признался Матвеев и опасно поглядел на окно — не следит ли кто за ними. — Все случилось внезапно. Быстро.

— Одно скажи: он не мучился?

— Петька погиб почти сразу, — ответил Матвеев, прикуривая вторую папиросу от первой. — Мы выдвинулись рано, около пяти утра. Нас перебудили и сказали, что местным нужна помощь. На сборы десять минут — и в рейд. Банда напала на деревню в нескольких километрах от нас. Нужно было уничтожить или хотя бы отбросить духов. В без пятнадцати шесть мы вступили в бой на подступах к деревне. — Не докурив папиросу, Матвеев бросил её на землю и принялся торопливо втаптывать в землю. — Вроде бы всё было в нашу пользу. Продвигались дом за домом. И тут откуда-то с высоты духи накрыли нас из пулемёта. Мы прижались к земле. Старлей командовал вашему сыну и нескольким бойцам подавить и уничтожить огневую

точку. Сказать всегда легче, чем сделать... С поручением справились “на отлично”, но Петьку серьёзно ранило в голову. Он ещё вёл огонь по противнику некоторое время, но быстро угас... Знаете, вот так: раз — и всё... Умер на руках у товарищей.

Матвееву было стыдно, что он так сухо обо всём поведал. Выходило, что и подвига Петька не совершил, хотя все тогда говорили, что Петька — герой.

— Не думайте, что всё так просто, — словно оправдываясь, прибавил он. — Петька и товарищи подвиг совершили — пулемётную точку забили!

— Да-да, конечно, — занервничал Петькин отец. — Спасибо, что рассказал об этом, теперь я знаю, что он не зря погиб. Не зря ведь? — пере-спросил он, крепко сжимая Матвееву ладонь.

— Не зря.

Зря или не зря — Матвеев не знал точно, но ему хотелось верить, что всё, происходившее и происходящее там, не просто так и действительно кому-нибудь нужно.

— А у нас Васька пропал, — сообщил, спускаясь с крыльца младший брат Пети.

— А кто это — Васька?

— Да это ж наш кот! — воскликнул малыш, поражённый, что Матвеев не знает таких важных вещей. — Любимый кот Петьки.

— Кот был очень привязан к сыну, — пояснил отец. — С детства вместе. Коту уж шестнадцать или семнадцать... Вчера вышел со двора — и поминай как звали.

Матвеев пожал плечами.

— Вернётся. Чувствую, что вернётся. Ему по-своему, по-котовски, нуж-но горе перегоревать.

Но кот так и не вернулся. Об этом Матвеев узнал спустя полгода из письма Петра Кузьмича. Ещё он писал, что Петькина мать со дня похоро-нов почти не встает с постели и стала совсем плоха. Матвеев не знал, что ответить на письмо, а потому отвечать не стал. И за это ему тоже было стыдно.

26

По радио передали, что сегодня день рождения Олега Табакова. Матвеев очень любил этого артиста, особенно за фильмы “Каштанка” и “Гори, гори, моя звезда”. Ещё он любил Юрия Никулина и мог пересматривать картины с его участием по много-много раз.

После завтрака он посмотрел немного телевизор. День за окном был ясный и тёплый. Мать давно собралась и уехала на работу, а Матвееву идти в контору совсем не хотелось.

— Ну, где тебя носит? — заверещали две сотрудницы, которые, кажется, никогда не разлучались. Он даже путал их имена. — Наши уже все на участке, и Гаврилыч тоже. Давай ноги в руки, и туда. Вот адрес...

Гаврилыч был начальником Матвеева, тем самым, что звонил его матери. Если уж и он отправился на вызов, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

Матвеев вошёл в подъезд девятиэтажки. Внутри было холодно, тянуло сыростью из подвала. Перепрыгивая через ступени, он начал восхождение на восьмой этаж, где застрял лифт, и вскоре услышал голоса. На лестничной площадке сошались Гаврилыч и ещё два механика. Матвеев не помнил, как их зовут. Он мало с кем общался на работе.

В кабине застрявшего между этажами лифта кто-то громко стучал.

— Не разоряйтесь, гражданка, — прикрикнул Гаврилыч, закатывая глаза. — Вытащим мы вас, не переживайте.

Женщине, находившейся в кабине лифта без света, было не по себе. Она, не умолкая, стучала по стенам и вошла нечленораздельно. Вскоре до-нёсся и мужской голос, просивший женщину успокоиться.

Матвеев сел на ступеньку и обхватил голову руками. Ему почудилось, будто всё это уже было: лестничная площадка, залитая светом, озадаченные люди, глухие крики, нескончаемый стук...

Разумеется — декабрь прошлого года. Горы, горы, горы — крутом только они. И снежные шапки на вершинах, касающиеся металлического неба. Душманы застали колонну врасплох. Не сразу поняли, откуда начался обстрел, а уже полыхали три наливника*. Застучали, распространяя зловещее эхо, пулемёты и автоматы. В начавшемся кавардаке слышался бесконечный мат; бойцы сваливались с брони на землю, кто для того, чтобы укрыться от огня, кто — сражённый пулей.

Коробочка**, промчавшаяся по дороге, подпрыгнула вдруг, наскочив на фугас, заложенный на обочине, и съехала в кювет. Она залегла там на бок. Гусеница слетела с катков; из стального нутра машины повалил густой дым. Оценив обстановку и решив, что сможет проскочить, Матвеев бросился на вырубку к тем, кто остался в перевернувшейся машине. Он дёрнул ручку одной кормовой двери, затем другой — безрезультатно. Двери заклинило. Он замер позади БМП, пытаясь понять, что делать. Раздался удар по обшивке — стучали изнутри.

— Помогите! — взмолились в десантном отделении. — Помогите!

— Я здесь, я здесь! — заорал в ответ Матвеев.

— Mamочka, я горю! — донеслось из десанта. — Мама, мне больно!

Матвеев ещё раз попытался открыть двери. Без толку. Он переполз к носу машины. Люк механика-водителя тоже не поддавался. Внутри не стихали крики. Матвеев, встав перед перевернувшейся БМП на колени, как перед богом, заткнул уши руками, но всё равно различал ужасающие, уже, казалось, нечеловеческие крики из пекла, скрывавшегося под броней машины. Он совсем не думал о собственной безопасности: ему было всё равно, попадёт ли в него сейчас пуля, приземлится ли рядом с ним мина, разорвёт ли она его на куски.

Крики внутри прекратились. Матвеев даже обрадовался, что солдаты мертвы — они своё отмучились. Он упал лицом в пыль и замер. Несколько секунд назад в мире что-то изменилось — наступила тишина. Матвеев поднял голову и отнял руки от ушей. Кто-то окликнул его.

— Слышь, Матвеев, у тебя всё в порядке?

Гаврилыч смотрел строго сверху вниз. Матвеев, не выдержав его взгляда, поднялся со ступеньки.

— Нормально всё.

— Ну и отлично. Понял, о чём мы сейчас говорили?

— Нет, — честно ответил Матвеев.

— Ладно, без тебя управимся, — с досадой махнул рукой начальник. — Отправляйся обратно, ты нам здесь не нужен.

— Есть, — кивнул Матвеев, но вместо того, чтобы начать спускаться вниз, пошёл наверх.

Дверь на крышу оказалась не заперта. В душной полутьме чердака, пытаясь в тонкой паутине, Матвеев добрался до люка, распахнул его и вылез наружу.

Солнце слепило глаза, где-то внизу, в деревьях, заливались птицы. Открывался прекрасный вид на район. Повернувшись на север, Матвеев отыскал свой дом. Крыша его блестела сильнее прочих крыш.

Ветер, гулявший на высоте, был приятно прохладен.

Ему вспомнилось, как мать провожала его у подъезда, когда он уходил в армию, а он нетерпеливо озирался по сторонам, надеясь увидеть Алису. Нет, она не обещала прийти, но он отчего-то ждал. Он вспомнил поезд, несколько суток несший его к месту службы, и разреженный воздух в грузовом отсеке “чёрного тюльпана”, и жару десантного отделения бронетранспортёра, и холодный дождь, застигший их врасплох в горах, и сверкающе-белый кишлак, зачищенный от бандитов, и вечерний киносеанс, на котором показывали

* Бензовоза.

** БМП — боевая машина пехоты.

картину “Вам и не снилось...”, и противный чай со вкусом верблюжьей колючки. Вспомнились Алисины глаза и руки, её губы, её голос и её дочка, спящая в коляске. Он услышал голос Светы и крик: “Мамочка, я горю!”

Потом стали вспоминаться лица: вот Черкес, уставший после боя, а вот лейтенант Антонович, лицо которого ещё не пострадало от огня, а вот маминно лицо — молодое, улыбающееся, а вот юношеские черты Куваева, которые он видит через маленькое окошко в цинковом гробу.

Матвеев улыбнулся этим людям.

И тут что-то произошло. Он и сам не понял, что именно: то ли он поскользнулся, то ли ноги сами понесли его к пропасти. Ветер ударил в лицо и раздался страшный, усиливающийся с каждым мгновением свист в ушах. А затем внезапно стемнело.

Вместо эпилога

Заметка из школьной стенгазеты:

15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день закончилась война. Мало кто знает, что в нашей школе учился её участник — сержант Иван Игоревич Матвеев.

Службу на территории Демократической Республики Афганистан он проходил в 1981—1983 гг. За время службы был награждён орденом Красной Звезды, медалями “За боевые заслуги” и “Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа”.

Однажды сержант Матвеев совершил подвиг: при зачистке кишлака (деревни), когда был убит командир взвода, он повёл за собой в атаку солдат и добился выполнения боевой задачи.

Иван Игоревич был скромным человеком, мало говорившим о своей службе в Афганистане. Он любил читать, интересовался спортом. Окончив службу, работал электромехаником по лифтам. 17 августа 1983 года Иван Игоревич трагически погиб.

До сих пор жива его мама. Она живёт в доме, стоящем неподалёку от нашей школы. У неё маленькая пенсия, которой едва хватает на лекарства и еду. Накануне 15 февраля мы ходили к ней в гости и подарили пакет конфет, книгу о войне в Афганистане и билеты в театр. Она была очень рада нам и благодарила, что мы не забываем её сына.

Мы гордимся, что наша школа воспитала такого героя, как Иван Игоревич Матвеев.